

НАТАША АППАНА

Свадьба
Анны



Весна — лучшее время для свадьбы. Чудесным апрельским днем Соня выдает замуж свою единственную дочь Анну. Их отношения трудно назвать идиллическими, мать и дочь слишком уж разные. Они даже внешне нисколько не похожи друг на друга. У Сони судьба сложилась непросто: родом с Маврикия, она всю жизнь прожила во Франции, в одиночку растила дочь, отношения с которой с самого начала складывались негладко. Соня — мятежная душа, ей нет дела до общепринятых норм и людского мнения, тогда как Анна — девушка строгих правил. И потому дочь испытывает потрясение, когда на ее собственной свадьбе мать заводит роман с будущим свекром. Что из этого выйдет и что победит — материнский инстинкт или любовная страсть?

«Свадьба Анны» — тонкий, истинно французский роман о превратностях любви, о непростых отношениях близких людей, о том, что честность перед собой — зачастую единственно верный путь к счастью.

Наташа Аппана
СВАДЬБА АННЫ

Бернару

Надо рассказывать потихоньку. Спокойно, не торопясь. Надо подождать, пока слова где-то там, внутри, отделятся, побродят немного, достигнут горла и выйдут наружу — как дыхание, как обычный выдох, как все, что делается тысячи раз в день, как нечто бесспорное. На этот раз надо рассказывать, не поддаваясь спешке, не уступая быту, сопротивляясь первому нашему утреннему побуждению: скорее, скорее, скорее заполнить чем-то жизнь, наиграться в богов, наделать глупостей.

Надо рассказать, как мы годами ждем, пока что-нибудь произойдет, пока колесо фортуны наконец повернется, пока стряхнем наконец с себя привычное оцепенение и вдруг, оглядевшись, увидим в рутине дня, похожего на все другие, то, что уже и не чаяли увидеть: вот она, здесь и сейчас, вот она, вот — другая жизнь. Только руку протяни. Но как часто, стараясь хоть чем-то заполнить жизнь, играя в богов и делая глупости, как часто мы упускаем эту минуту, даже не догадываясь, что упустили ее, даже не догадываясь, что здесь и сейчас, всего мгновение назад мимо нас промелькнула удача нашей жизни, мужчина нашей жизни, женщина нашей жизни.

Сегодня 21 апреля. Я просыпаюсь. Свет просачивается сквозь щелку между деревянными ставнями, гуляет вдоль постели. Он слева, с моей стороны. Похоже, я всегда выбираю ту сторону постели, куда солнце пробирается с самого рассвета. В любой комнате, у друзей или в отеле, везде и всегда я оказываюсь именно с той стороны кровати, где утром меня найдет солнце. А может быть, мне это просто кажется, может быть, это просто одна из множества мыслей, которые толкуются у меня в голове и в которые я верю только потому, что они тут, они есть, они всегда есть и всегда тут. Во рту помойка — наверное, потому, что снова стала курить, уже несколько месяцев.

Не знаю, что на меня нашло, но, когда все нормальные люди, приняв разумное решение, перестают дымить, я даю задний ход. И хватаюсь за пачку этих тонких длинных легких сигарет, с которыми так смешно выгляжу, говорит Анна, моя дочка, моя умная, серьезная дочь. Она смотрит на меня строго, и мне, ее матери, приходится опускать глаза, и я со стыдом запикиваю сигареты обратно в сумку. Каждая пачка оповещает всех вокруг, что я хочу умереть, что я отравляю окружающую среду, что смерть моя будет медленной и мучительной. Каждая пачка предупреждает меня о тысячах ужасных опасностей (рак, немота, импотенция, уродство...), все это должно было бы удерживать меня от курения, не пустить в мои легкие 0,70 мг никотина, 8 мг смолы и 8 мг монооксида углерода, но нет, не удерживает: моя отвага и мое сумасбродство беспредельны, я курю.

А вот моя дочь Анна — она не курит. Я очень этому рада, я могу только поздравить ее с тем, что она такая волевая, такая разумная, такая последовательная во всем, что делает, она всегда умела быть такой, но иногда я все отдала бы за то, чтобы выкурить с ней по сигаретке, молча, в тишине, когда никого вокруг, когда нас только двое и мы вдвоем тонем в голубом дыму. Мы разделили бы с ней что-то запретное, и это запретное могло бы нас сблизить, вот только о таких вещах и думать нечего. Матери так не делают. Мать — это святая, кому ж неизвестно. Мать дает мудрые советы, мать вовремя говорит то, что нужно, мать полна любви и нежности, мать умеет готовить замечательные блюда, рецепты которых оставит после себя в пожелтевшей от времени тетрадке на спирали, и рецепты будут написаны ее красивым почерком (само собой разумеется, у матери очень красивый почерк: все тут на

месте, и нажимы, и волоски, букочки круглые, строчки ровные, сплошная гармония, что ни слово, прямо-таки бесконечная нежность черным по белому...), и для каждого рецепта она найдет свое название, и укажет точные соотношения продуктов, и поделится маленькими хитростями, например, как сделать, чтобы соус не слишком загустел или не остался слишком жидким, — словом, всякие мелочи, которые и делают блюдо супом или жарким «по маминому рецепту»...

Анна зовет меня «мама». Мне бы хотелось не так, мне бы хотелось, чтобы она придумала для меня прозвище, этакое специальное имечко, только мое и ничье больше, и, если бы когда-нибудь, увидев меня со спины в толпе, она вдруг позвала меня, назвала меня так, прокричала бы это имечко, самую ею для меня придуманное, я бы сразу поняла, я бы обернулась, я бы знала... Ведь в толпе, если кто-то кричит «мама!», сразу оборачиваются сотни женщин... Но Анна говорит мне «мама» — серьезно, важно, официально. Она вкладывает в это слово силу, оно состоит у нее из прямых углов, и за ним вырастают крутые утесы, а под обрывом — острые камни; она артикулирует в нем каждый звук, иногда она просто держит им на расстоянии, но чаще осуждает, упрекает. И еще, кажется мне иногда, она им требует, и в таких случаях я сразу напрягаюсь. Один или два раза вместо «мама» мне послышалось «мадам» и от этого хотелось плакать.

Анна. Моя взрослая дочь, мой единственный ребенок. Неумело, до чего же неумело я ее воспитывала, но ведь о том, как воспитывать, не сказано ни в тех книжках, которые я читаю, ни в тех, которые пишу. Анна, моя дочь... Моя дочь, мне кажется, немножко на меня похожа: у нее мои черные густые волосы, и, когда она их распускает, они доходят до лопаток, а если она вечером задумчиво накручивает прядь на карандаш, я знаю, что и этот жест наш общий. Когда Анна была маленькая, я часами смотрела на нее, изучала, исследовала, а потом удивлялась тому, что она вышла из меня. Ее руки; ее ногти такие же крепкие, как мои, никогда не ломаются; ее четко очерченные пальцы на ногах и этот едва видный ноготок на мизинчике, можно подумать, просто чуть более твердый кусочек кожи — и все; линии ее руки, которые я, нахмурясь, старалась прочесть, старалась разгадать ее будущее, радуясь, что линии такие отчетливые, — я читала, что это знак долгой и счастливой жизни, долгой, счастливой, спокойной, как река на равнине. Родинка посреди спины — темная, похожая очертаниями на крохотную грушу. Маленькие волосики, много-много маленьких волосиков там, где начинается коса, тонкие плечи, колени — красиво вылепленные, гладкие. Она, моя Анна, никогда особо не шалила, вот, скажем, она никогда не разбивала коленок, а со мной — ребенком и подростком — это случалось десятки раз.

Когда Анна была маленькая, она что ни вечер проводила пальчиком по какому-нибудь из моих многочисленных неровных шрамов и расспрашивала, а этот от чего, а этот, а этот. И я рассказывала историю каждого. Этот остался после того, как я полезла на манговое дерево за самым красным плодом, а ветка обломилась, и я упала — на мягкую землю, но хватило одного камешка, одного-единственного, чтобы вот так сильно разодрать кожу. Этот... этот... а-а-а, мы сдавали бег на двести метров в школе, мне было пятнадцать, никаких синтетических покрытий еще не существовало, я неслась по гравию в белых теннисках на резиновой подошве, и гравий отзывался на каждое касание: скрррр, скрррр, скрррр... я упала и вскочила так резво, будто ничего и не случилось, просто я пробежала короткую дистанцию, а потом две медсестры держали меня за руки и за ноги, а третья выдирала пинцетом крошки этого самого гравия, впившиеся в красную, распухшую плоть. Кстати, если манго мне и не досталось, то соревнования-то я выиграла, но все, что случилось дальше, Анну уже не

интересовало. А этот... мы с братом играли в футбол на лужайке — мокрой и грязной после дождя, нога соскользнула с мяча, я грохнулась, разбила коленку, после операции остался длинный, похожий на застежку-молнию шрам, ну и болит, когда холодно. Анна вздрагивала и — уже тогда — говорила мне: «Мама, ты неисправима».

Я любила вспоминать все это, я надеялась, она станет мною гордиться — вот, дескать, какая у меня мама, мама-сорвиголова, мама не хуже любого мальчишки, отчаянная мама, я надеялась, она станет рассказывать друзьям, что у нее за неугомонная мама, просто вихрь, но нет, она ничего не рассказывала, она меня не понимала, а иногда и немножко стыдилась. Это я точно знаю. Ведь когда к ней приходили друзья и я за ужином роняла, что была чемпионкой по спринту, я — в общем-то, писательница, женщина с длинными волосами и туманным на фотографиях взглядом, а говорила я это нарочно, чтобы поразить ее приятелей, чтобы они меньше меня с моими книгами боялись, мне хотелось их рассмешить, у меня в запасе полно забавных историй про соревнования по бегу, Анна сразу вся как-то сжималась, смущалась, бросала мне с упреком: «Мама!» — и ничего не оставалось, как мгновенно заткнуться. До чего же ей хотелось маму, как у всех, маму с идеальным телом, с гладкими коленками.

Ее детское тело, тело моей маленькой девочки, — я так хорошо его помню, умела бы рисовать, могла бы воспроизвести чуть ли не со всеми подробностями. Не знаю, каким оно стало после: едва Анне исполнилось одиннадцать, она, переодеваясь, стала запирается на ключ, на два оборота. Летом, когда она в купальнике, я потихоньку стараюсь разглядеть родинку в форме груши, мне хотелось бы, чтобы она разрешила помассировать ей ноги, мне хотелось бы пощупать ее крохотный ноготок, но она этого не любит. От слишком тесного со мной контакта, слишком большой близости Анне не по себе. Анна, моя дочка, мой единственный ребенок, отдалилась от меня совсем маленькой. А может быть, это я первая сделала шаг в сторону, занялась своими книгами... Я выдумывала целые семьи, я любила их, растила, убивала, лепила и мяла как хотела, — и, может быть, тогда я была далекой от ребенка матерью, невнимательной матерью, матерью из пепла и дыма?

Когда Анна первый раз полюбила и разочаровалась, когда горевала, она ничего не сказала мне, я слышала, как она плачет за стенкой, разделявшей наши комнаты, я заваривала ей чай, но она не пила, и чай остывал, и его поверхность затягивалась пленкой, и пленка приставала к стенкам некрасивыми пятнами. Анна выпила бы кофе, она любит кофе, но я не умею его варить, у меня получается только темная жижа без определенного вкуса. Мне так хотелось обнять ее, прижать к себе, погладить по голове, сказать, что это пройдет, наговорить нежностей, как когда она была маленькая, но нет, она не хотела, наверное, я не сумела сделать все как надо. И я подумала тогда, что, может быть, она меня не любит. Такое исключать нельзя, такое случается куда чаще, чем мы думаем, дети не обязаны любить своих родителей.

Она училась математической статистике, моя Анна. Когда я говорю, что она только и делает, что считает, она поднимает глаза к небу с типичным для таких ситуаций видом недовольной обывательницы, поджимает губы, чуть опустив уголки, тяжело вздыхает, едва заметно качает головой, медленно, обреченно роняет левую руку. Где она этому научилась? Она только и делает, что считает, считает с удовольствием, составляет сложные таблицы, графики, где кривые отражают торговый оборот, изучает теорию рынка, чтобы понять, отчего дела идут не так, а отчего налаживаются, — она занимается всем этим охотно, моя Анна. Но вот история, языки, литература — все это практически ничего для нее

не значило и не значит. И все-таки я не унимаюсь и покупаю ей книги. Каждое воскресенье шатаюсь вдоль берега Соны от букиниста к букинисту. Они теперь уже хорошо меня знают, говорят мне «вы», но называют по имени, и мне приятно слышать мое имя и это «вы», его сопровождающее, мне кажется, что меня уважают, но при этом я еще достаточно привлекательна, чтобы отзываться просто на имя. Я копаюсь в развалах, и там всегда попадается книжка, которая, как я надеюсь, заинтересует Анну. Я засовываю эту книжку в сумку между теми, что уже купила для себя, а придя домой, сразу же протягиваю Анне. Она говорит спасибо, читает название, из вежливости заглядывает на заднюю обложку, притворяется, будто оценила мой выбор, но потом ставит ее на полку большого книжного шкафа, к моим книгам. А один-единственный раз я ничего ей не принесла: купила на все деньги томик Камю в старинном темно-вишневом переплете, сборник пьес, на первой странице которого кто-то написал оставляющей кляксы ручкой: «С любовью». За это я книжку и купила, за это не подписанное, неуклюжее «С любовью». И у меня не осталось ничего в кошельке на что-то еще. Когда я вернулась домой, Анна помогла мне разобрать покупки, сделанные на рынке, и ждала, стоя рядом. Поняв, что для нее ничего нет, она тихонько дотронулась до моей руки и спросила: «Мам, все в порядке? Если хочешь, можем вечером сходить в кино...» В ее голосе слышалось трогательное беспокойство, может быть, она подумала, что я сержусь на нее, и от этой внезапной предупредительности я так размякла, что едва удержала слезы. Может быть, она все-таки хоть немножечко меня любит? Может быть, в конце концов, все дело именно в таких мелочах? Привычка, раз и навсегда заведенный порядок, и вдруг — что-то случается, что-то меняется, и ты хватаешься за голову, осознав, *что* ты потерял.

Проснувшись сегодня утром, 21 апреля, я долго сижу в постели, подставив левое плечо под ласку теплого солнышка. По улице носятся на роликах дети, слышно, как вжикают по асфальту колесики. Наконец я встаю и тихонько, стараясь, чтобы не скрипнул паркет, двигаюсь в сторону кухни: ужасно хочется пить. На кухне уйма свертков в нарядных бумажных подарочных пакетах с шелковистыми витыми ручками, похожими на плетеные шнуры для занавесок. У меня духу не хватит их выбросить, я потом аккуратно сложу каждый и уберу за гладильную доску, где и без того уже возвышается пестрая стопка, больше похожая на колонну.

Осторожно открываю дверь в комнату Анны и подхожу к ней. Я стараюсь ступать как можно легче, чтобы не дай бог не нарушить тишины, хотя надо бы откашляться и прочистить горло. Ну и зачем я снова стала курить? Меня даже слегка в пот кидает, словно я боюсь: вот сейчас она проснется, бросит мне это свое укоризненное «мама», и придется спешно отступать. В комнате прохладно, моя дочка спит на спине, одна рука на груди, другая засунута под подушку. По подушке разметались ее черные волосы, и у меня мелькает мысль: вот бы она открыла глаза и улыбнулась мне, и я забралась бы к ней под одеяло, и мы бы подремали еще рядышком, вдвоем, сегодня можно, сегодня суббота. Но нет... она дышит ровно, она спит с полуоткрытым ртом, и видны верхние зубы, четкая красивая линия, один в один, белые, роскошные — зубы американской кинозвезды. Несколько лет назад она ходила с брекетами, и меня это сильно смущало. Мне казалось, что эти два чуть налезających один на другой зуба делают ее улыбку более задорной, лукавой, нежной, но она отмахнулась от моих советов — только несознательная мать может быть против брекетов, где такое видано... В синеватом утреннем свете ее кожа сияет, я стою, смотрю, как она спит, я стараюсь представить себе, какие сны могут сниться принцессе, потому что она видит

именно такие сны — моя дочка ведь точь-в-точь принцесса. Рядом с кроватью — вешалка, на ней спит во весь рост ее красивое подвенечное платье цвета слоновой кости.

Скоро, теперь уже совсем скоро я сделаю ей сюрприз. *Something old, something new, something borrowed and something blue. Старое, новое, чужое, голубое...* Я уже две недели как упаковала это: старенький, доставшийся мне от мамы носовой платочек, свой собственный золотой браслет, который очень люблю и который теперь дам поносить Анне, крохотные шелковые бледно-голубые трусики, они прошли бы в ее обручальное кольцо, такие тоненькие и гладкие, надеюсь, она не рассердится — она не любит, когда я дарю ей белье... Старое, чужое, голубое... Ну а новое... на новое — пару прелестных сережек с настоящими жемчужинками в тон платью — ушли все мои сбережения. И все это будет с ней и на ней — если она, конечно, захочет — прямо сегодня, и все это талисманы, и они должны принести ей счастье.

Платье украшает стену — как охотничий трофей. Оно замечательное... правда, мне кажется, вроде бы чересчур целомудренное... но какая разница, что кажется мне, это же не мой, это ее день, это день Анны. Сегодня, 21 апреля, я выдаю замуж дочь, и сегодня я выброшу из головы все свои бредни старой дуры, сегодня я буду такой, какой ей хочется меня видеть: достойной, отлично причесанной, с великолепным макияжем, нарядной, улыбающейся, готовой с наигранным пылом вести любые разговоры, которые не оставят ни малейшего следа в памяти, и переходить от одних гостей к другим, как мотылек перелетает с цветка на цветок, собирая свой нектар... Образцовая мать — вот кем я буду сегодня. А чтобы вдыхать дым-убийцу, куда-нибудь спрячусь...

Сегодня я выдаю дочку замуж. Смотрю на спящую Анну, а эта фраза беснуется в моей голове. Мне сорок два года, и сегодня я выдаю замуж свою дочь. Внезапно возникает ощущение, что я выскользнула из собственного тела и летаю над спящей Анной и над самой собой, и смотрю на все это сверху, как будто смотрю кино, и думаю: нет, такого не могло случиться, нет, это не со мной. Мне бы хотелось в день свадьбы дочери быть мудрой, иными словами, мне бы хотелось больше не бояться завтрашнего дня, оглядываться на прошлое с улыбкой, ждать будущего, ни о чем не тревожась, и чтобы у меня было все, о чем мечтаю, и чтобы ничему не завидовать ни при каких обстоятельствах, и чтобы рядом был привлекательный мужчина, и чтобы я была уверена в себе и могла хохотать сама и смешить других, и чтобы... Мне бы хотелось хоть иногда смотреть на себя и свою жизнь со стороны и чтобы в Анну это вселяло уверенность, но нет, ничего этого я не могу, не умею, ничего этого у меня нет.

Я выхожу из комнаты 21 апреля, раннее утро, только что пробило семь, и на пороге меня встречает вдруг наступившая старость.

Его зовут Ален. Анна познакомилась с ним в Барселоне полтора года назад. Она не рассказывала подробно, как они встретились, она не говорила, отозвалась ли всем телом на его голос, растаяла ли от него, я не знаю, рассмешил ли он ее вначале или ей понравились какие-то простые и деликатные его поступки, дарил ли он ей цветы или изображал из себя повесу, может быть, хулиганил...

В Барселону, к своей подруге Нине, архивистке, работающей в устроенной по старинке фототеке, Анна поехала на каникулы. Раньше Нина жила рядом с нами и любила приходить к нам даже тогда, когда Анны не было дома. Совсем еще девочкой она обожала рыться в книгах, и ей всегда было в радость закопаться в битком набитые коробки, которые я никак не могла разобрать, да и полок все равно не хватало. Она звонила в дверь, а стоило открыть, писклявым голоском спрашивала: «Мадам, а можно мне порыться в ваших коробках с книжками?» И я не могла сдержать улыбки, слыша эту всегда одну и ту же фразу и этот чуть резковатый в своей писклявости голосок, этот вопрос, который звучал так, словно он репетировался на протяжении всех двухсот метров, разделявших наши дома. Я отвечала: «Да, конечно же!» — и она принималась вытаскивать своими беленькими ручками пропыленные насквозь книги, некоторые из них — одну, две — рассматривала подольше, сдувала с них пыль, проветривала страницы, приподнимая их большим пальцем. Она раскладывала томики в одном ей понятном порядке, выстраивала их на полу стопками по четыре. В конце концов она оказывалась словно бы внутри невысокой башни. Все это Нина проделывала тихо, не прерывая работы ни на минуту, полностью на ней сосредоточившись. Она создавала какую-то продуманную конструкцию. Иногда я потихоньку поглядывала на нее, потом о девочке забывала, и так продолжалось, пока не возвращалась домой Анна. А когда возвращалась, Нина аккуратнейшим образом складывала все книги обратно в коробку, и девочки закрывались в комнате дочки.

Отец Нины — итальянец по имени Уго. После развода с матерью Нины Уго навсегда уехал в Барселону, хотя до того сроду в этом городе не был. Поди пойми, зачем итальянцу понадобилось жить в Испании, но случается и такое... Я же сама родилась в стране, где море видно отовсюду и круглый год минимум двадцать пять градусов тепла... Нина проводила все каникулы у отца, в Барселоне, в квартире, населенной серыми кошками. Однажды Нина рассказала, что, по словам отца, кошки вовсе не любят молоко, это только мы, люди, уверены, что любят. «Ai gatti non piace il latte». ^[1] А я подумала — кошки в своей беде не единственные; подумала — как часто мы выбираем за кого-то, считая, будто то или другое ему непременно в радость, и — не знаю уж, благодаря какому наглости и высокомерному устройству ума, — начинаем в итоге верить, что лучше других понимаем, в чем для них счастье.

Мать Нины вышла вторым браком за бухгалтера, высокого блондина, который толстеет только животом. Я все время встречаюсь с ним в табачной лавочке, он покупает маленькие сигарки в таких коричневых металлических коробочках. У него тонкие черты, сухие узловатые руки, пальцы как у пианиста — и вдруг эта странность, вдруг этот холм на месте живота. Когда он говорит с продавцом, он не чувствует, как трясется его пузо, а оно движется одновременно с его губами, и ощущение такое, будто там, под кожей, спрятано что-то живое. Не помню, как его зовут, какое-то простое у него имя — то ли Жак, то ли

Жан, то ли Пьер, нет, не помню.

Когда два года назад с учебой было покончено, Нина решила перебраться жить к отцу. Моя дочка загрустила, и я посоветовала ей съездить к подружке в гости. Она отправилась к ней на два месяца, там провела почти все прошлое лето, там и Алена встретила, где именно, сказать не могу, не знаю, Барселона — город большой. Мне кажется, они познакомились в баре, потому что Анна очень любит именно такой кофе, какой бывает в барах, ей нравится коричневая пена на поверхности, она бережно, будто нектар, вбирает ее губами. И мне кажется, когда выяснилось, что они с Аленом оба из Лиона, это их сразу сблизило, поначалу такие совпадения очень помогают, представляются добрым знаком. Не знаю, любили ли они друг друга впервые уже в Барселоне или вернувшись сюда, но надеюсь, что там — в разгар лета, при открытых окнах, слушая, как ветер надувает паруса простынь, развешанных хозяйками сушиться между домами, и паруса хлопают, хлопают... Любить в чужих краях лучше...

Из Барселоны Анна присылала мне по письму в неделю. Немножко описывала город, немножко рассказывала о том, чем они занимаются с Ниной, — в общем, о всяких пустяках. Предложения в ее письмах всегда были короткими, правильно построенными: подлежащее, сказуемое, дополнение — типичные фразы из школьного сочинения. Иногда мне казалось, что я получаю от нее домашнее задание на тему «Расскажите вашей маме о том, как вы проводите каникулы».

Спустя месяц в письме Анны впервые появилось имя Алена. То есть начиналось-то письмо с того, что папа Нины взял двух новых котов, затем сообщалось, что сама Анна в полном порядке, только очень жарко, и она, кажется, сожгла руки. Затем, во втором абзаце (Анна делила письма на абзацы, будто диктант, начинала с красной строки, отступала от края, заполняя всю страницу ровными главками, перемежающимися чистыми промежутками, что создавало у меня ощущение, будто письмо чрезвычайно богато описанием событий), так вот, во втором абзаце я прочитала следующее: «Линия сердца: я познакомилась с Аленом, французом, который приехал на каникулы в Барселону. Представляешь, он из Лиона, живет в Сен-Жюст.^[2] А здесь он с друзьями, и они пригласили нас с Ниной провести вместе выходные на море». Вот так они познакомились с Аленом. Она отправилась с этим мальчиком на пляж, а на следующей неделе рассказала мне, что он закончил юридический факультет (и я тут же вспомнила шутку Колюша:^[3] четыре года изучаешь право, чтобы остальные годы ходить налево, — но не сказала об этом Анне, она предпочитает с подобными вещами не шутить) и работает судебным исполнителем. Судебным исполнителем! Я тут же представила себе низенького кривоногого человечка, который стучится в дверь, держа в руках гербовую бумагу, и говорит: «Мадам, разрешите, мы наложим арест на ваше имущество, не мешайте нам, и никаких проблем не будет!» Прекрасно понимаю, что это всего лишь расхожее клише, но тем не менее оно первым приходит на ум. Судебный исполнитель! Нет, ну как можно влюбиться в судебного исполнителя! Однако стоило промелькнуть такой мысли, как я тут же горько пожалела об этом и стала читать себе мораль, пытаюсь найти для юноши смягчающие обстоятельства... Он храбрый мальчик, этот Ален, он не боится оскорблений со всех сторон, хуже приходится разве только женщинам, служащим во вспомогательном составе полиции, и контролерам в автобусах, и судебные исполнители необходимы, как же без них, да, да, конечно, этот Ален — он храбрый, он мужественный юноша. Читая письмо Анны, я повторяла себе эти слова, я пыталась задавить идиотское разочарование, переполнявшее сердце. Доченька, мне ужасно

жаль, что я так думала о том, кто вот-вот станет твоим мужем. Ну да, конечно, я надеялась, тебе встретится парень, который пробудит в тебе мечты, который унесет тебя далеко-далеко от твоих цифр и от намерения прожить упорядоченную жизнь, жизнь по всем правилам, увезет в страны, названия которых даже и не выговоришь... Этот парень, он читал бы по утрам, а не только на ночь, он не использовал бы книгу как лекарство от бессонницы, у него была бы двухдневная щетина, от нее становилось бы щекотно, и колко, и приятно, и твоей маме тоже было бы смешно... Ты права, меня не исправить, я недостойная мать. Мне следовало бы радоваться, и я радуюсь, честное слово, радуюсь. Увидишь, сегодня ты будешь мной довольна.

Из Барселоны она вернулась влюбленной по уши. Жизнь ее сосредоточилась теперь на ней самой, может быть, она впервые осознала, что у нее есть сердце, — мы же только тогда и понимаем, что у нас есть сердце, когда влюбляемся. Она все время думала только о нем, она чему-то молча улыбалась, она казалась окруженной сиянием, и я боялась это сияние погасить. Она вдруг стала со мной нежнее, иногда смеялась, слушая мои байки. Я вернулась тогда с литературного фестиваля, где мы с одним коллегой-канадцем что-то чересчур много выпили и выкурили, говоря при этом о чем угодно, кроме литературы. С наступлением ночи мы уснули прямо под японской вишней в цвету, а на рассвете оказались засыпаны розовыми и нежными, будто перышки райских птиц, лепестками, и дворник выгнал нас только что не взашей, крича, что вот, дескать, развалились тут, хулиганы, пьянь подзаборная. Анна хохотала, слушая эту историю, но я не рассказала ей продолжения: как мы с канадцем оказались в одном гостиничном номере, взволнованные этой розовой сказкой, этой мечтой, этим подарком небес, какой разве что во сне увидишь, не рассказала, как мы проспали с ним рядышком до полудня, — и ни у него, ни у меня не промелькнуло даже крошечной скользкой мыслишки, — не рассказала, что проснулись мы такими спокойными, безмятежными, чистыми, какими редко бывали даже с теми, кого любили...

В тот же год Анна с Аленом обручились. Он сделал предложение на мосту через Соню — Анна не уточнила, на каком именно, не сказала и о том, выступили ли у нее на глазах слезы, ощущала ли она одновременно восторг и страх, было ли ветрено в тот день и насколько нежен и долог оказался скрепивший договор поцелуй. Она ответила «да», а вечером показала мне обручальное колечко с крупным бриллиантом в окружении двух инкрустированных рубинами веточек. Я взяла руку дочки, поцеловала ее пальцы, утерла слезы, сказала, как я счастлива за нее. Она улыбнулась, мы заказали пиццу и молча ее уплели. Я еще не думала о свадьбе, просто потому не думала, что не сразу поняла: следующий шаг — именно свадьба. Анна зажгла две свечи, мы сидели, положив ноги на стулья, допивали вино, огоньки подрагивали, мы обе чуть опьянели. Говорили о всяких пустяках, нам было хорошо.

А несколько дней спустя мы с Аленом познакомились. Анна пригласила его к обеду, подготовив для меня длинный и, по-моему, ужасно смешной список, ее, впрочем, вовсе не веселивший: моя дочь воспринимала все это более чем серьезно. Итак, я должна была: навести порядок на своем письменном столе; проветрить всю квартиру (раз уж снова начала курить); постелить на стол белую скатерть — только не простую, а ту, что для самых торжественных случаев; купить заранее, за два дня, цветы, чтобы у Алена создалось впечатление, будто цветы у нас в доме всегда, а не ради его прихода (Анна именно так все формулировала, можно было подумать, она прошла обучение у баронессы Ротшильд); надеть платье, а не джинсы, тем более — с майкой «Поехали на Маврикий!», подарком от давней

подруги-островитянки. Эта майка, самая моя любимая, вызывала просто-таки скрежет зубовой у Анны, заявлявшей, что в ней я выгляжу «старой-дурой-с-задержкой-развития-на-четырнадцать-годах».

Ален явился с цветами и коробкой конфет. Но он принес не просто цветы — ничем не скрепленные, свободные цветы, обернутые бумагой или обвязанные рафией, он не выбрал букет, какие носят, прижав к груди, словно младенца, в какие можно окунуть лицо... Все наоборот: это была шикарная, тщательно продуманная композиция, последний писк моды, как говорится, это были две лилии в вазе, напоминающей лабораторный сосуд, лилии стояли прямо, как солдатики, не клонясь ни вправо, ни влево, в них не было хрупкости, свойственной цветам, не чувствовалось нежности, вазу в узкой части горловины украшало нечто вроде боа из белых перьев, а в воде плавали серебристые блески... Когда несколько дней спустя лилии увяли и я решила разобрать это неопишное сооружение, то с ужасом обнаружила, что несчастные цветы не просто так стоят солдатиками — сквозь стебли пропущена стальная проволока, которой и следовало поддерживать их торчком, пока совсем не сгниют.

— Какой великолепный букет, правда, мама? — услышала я от Анны.

Откуда у нее эти манеры, этот высокопарный слог! Ничего себе великолепный букет! Что до меня, то мне бы хотелось либо выставить парня за дверь вместе с его презентом, либо расхохотаться прямо ему в физиономию. Но я сдержалась, правда, чувствовала, как горят щеки, — впрочем, может быть, из-за того, что глотнула перед его приходом виски, чтобы чуть расслабиться. Ален говорил мне «мадам», хотя я назвала свое имя и настаивала на том, чтобы по имени он ко мне и обращался, — нет, не получилось. Клетчатый пиджак был очень к лицу гостю, коротко подстриженные волосы оставляли открытым шрамик на лбу. Не поняла, красив он или нет, поняла, что вежлив. Очень вежлив и очень хорошо воспитан. Мне бы хотелось, чтобы он опрокинул соусник, уронил на брюки кусочек мяса, но нет, от него такого не дождешься, не человек — сплошное совершенство, грустно-то как... Единственный сын, родители в разводе. Отец — журналист, пишет книги об Африке, мать — хранительница очага. Да-да, Ален именно так и сказал: «Моя мать — хранительница очага». А я подумала: интересно, когда Анна рассказывала ему обо мне, она сказала — как? «Моя мать — странная и непонятно о чем думает»?

Я попыталась узнать о его родителях больше, задала несколько вопросов: какие книги пишет отец, почему именно об Африке? — но Ален улыбнулся и ответил, что у них с отцом не очень-то складываются отношения. Анна в это время гладила его по затылку, тяжелый перстень посверкивал, и дети смотрели друг на друга с любовью. Я замолчала, уставилась в тарелку и пожалела о том, что вместо печали, давящей на сердце, и смутного чувства своей здесь ненужности не ощущаю в себе тихого счастья...

Полгода назад они решили пожениться. Я осторожно сказала Анне, что решение кажется мне поспешным, но Анна, строго на меня взглянув, ответила, что по этому поводу мне бы лучше не возникать. Нет, разумеется, не слово в слово так, только ведь каковы бы ни были слова, смысл от этого не изменился. Ален нашел в Париже «хорошее место», и Анне вовсе не хочется жить вдали от него. «Хорошее место» — выражение, которое, по идее, должно успокаивать родителей, меня же от него почему-то передернуло. Мне представилось, что их запрут в огромном темном здании, куда можно войти, но откуда нельзя выйти, а вокруг будут бродить существа в серых одеждах, шелкающие длинными зубами... Нет, ну зачем же сразу жениться-то? Почему бы просто не поселиться вместе и не

пожить так какое-то время? Как же, как же! Моя Анна, моя крепкая сильная Анна приняла решение и не намерена от него отступить. И с какой стати ей слушать свою матушку, которая никогда не могла удержать мужчину и так и не сумела выйти замуж? Я пыталась ее разубедить. Тебе всего двадцать три года, говорила я ей, ну и куда ты спешишь, зачем спешить, когда лучше выждать какое-то время, присмотреться друг к другу, притереться, приходить, уходить, снова возвращаться... Все впустую — Анна хотела замуж. Я говорила ей о быте, о рутине, о повседневных мелких глупостях, которые способны истощить терпение самой прочной пары, говорила о возрасте, о переменах, о разнице в желаниях, а главное — мало ли что с ней в жизни может еще приключиться, а скоропалительный брак задушит все это в зародыше, но она на все ответила просто: «Мама, это любовь всей моей жизни!» Она тихо и ласково, так, как маленькому ребенку сообщают какую-то совсем плохую новость, произнесла эту категоричную, окончательную, бесповоротную, как нож гильотины, фразу, эту фразу, которую на самом деле никогда не следовало бы произносить или уж произнести однажды, перед самой смертью, вспомнив все пережитое и выбрав из всего пережитого одну-единственную любовь, чтобы именно ее взять с собой в иной мир, — и, услышав эту фразу, которой сама не сказала никому и никогда, даже и не подумала ни разу этими самыми словами, я уступила. Сдалась.

Ален продолжал называть меня «мадам», задавать мне вежливые, предусмотренные этикетом вопросы о моей жизни, о моей работе. Он никогда не оставался у нас на ночь, это Анна уходила к нему. В таких случаях она, моя серьезная, послушная дочка, звонила мне вечером, чтобы я не беспокоилась, и я слышала, я чувствовала, что вокруг нее сейчас тишина... тишина квартиры, в которой живет супружеская пара со стажем... А я... А я, когда Анны нет дома, а работу можно уже и отложить, включаю музыку 60-х. Я знаю наизусть слова всех песенок, я свингую, я отплясываю в одиночку рок, я чувствую себя пятнадцатилетней. Я включаю динамики на полную мощь, я сую в рот подряд все что повреднее, я быстро наедаюсь, и мне ужасно хочется, чтобы Анна была сейчас со мной, сейчас, когда я откладываю в сторонку все свои истории и испытываю это странное удовольствие от того, что заполнила буквами белые страницы.

Должна признаться, о том, как выходят замуж, о том, как положено праздновать свадьбу, я знаю совсем немного. Сначала попробовала включиться в обсуждение, у меня даже появились какие-то идеи — например, чтобы Анна выходила замуж босиком, в красном, и ее распущенные и завитые по такому случаю волосы все были бы усыпаны мелкими ромашками... Но оказалось, что никому все это не надо. Оказалось, что они заплатили конторе, которая специализируется на организации бракосочетаний (*wedding planner*^[4] — надо же такое придумать!), и эти люди знают все и займутся всем: и меню, и перечнем подарков, которые желают получить молодожены, и оформлением зала, и приглашениями, и цветами, и парикмахером, и визажистом, и тем, как рассадить гостей за столом, наверное, тоже.

Анне осталось разве что выбрать себе платье, ну и туфли, потому что, конечно же, она не захотела выходить замуж босиком — ей это кажется смешным и нелепым. Она так и сказала: «Это смешно и нелепо». Я-то всю жизнь ищу правильное, точное слово, такое, которое нельзя заменить любым другим или даже похожим, нельзя заменить синонимом, потому что, заменяя слова синонимами, мы дойдем в конце концов до того, что все слова станут значить одно и то же, и мне иногда кажется, что слова, которые находит Анна, самые сильные, самые острые, она вбивает их мне в голову, как вбивают гвоздь в стену, и они так и

остаются там навсегда. «Выходить замуж босиком, мама, это смешно и нелепо!» Она ведь могла бы сказать: «Нет, спасибо», сказать, что это «уже не модно», или «устарело», или «слишком уж романтично», пусть даже «Ты что, мам! я же не хиппи!»... Но нет, она сказала — «это смешно и нелепо».

А по-моему, если что тут у нас и на самом деле «смешно и нелепо», то это название предприятия, которое организует свадьбы! Знаете, как оно называется? «САМЫЙ ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ ВАШЕЙ ЖИЗНИ»! Разве не смешно? Они арендовали в департамент Эн замок. Я видела фотографию, сказала «красиво», чтобы Анне было приятно. Но, если по-честному, ничего красивого я там не обнаружила, так — что-то серое, большое и тяжелое. Понятия не имею, во что обойдется аренда этого замка, но платит за все Ален — Анна шепнула мне это, когда я попросила ее, раз уж ей не понравились мои идеи, взять у меня хотя бы немножко денег. Ой, как не смешно... мне хотелось встряхнуть дочь, сказать ей — беги, беги со всех ног, беги быстрее и как можно дальше от этого человека, который платит за все. Но она уже согласилась. Она уже стала ему верной и послушной женой. Она уже принадлежит ему.

Я постепенно теряла интерес к свадьбе дочери, в доме ничто и не намекало на неуклонное приближение знаменательного дня. Анна утром отправлялась на работу, вечером возвращалась, мы спокойно ужинали на кухне и выпивали по рюмочке. Потом я уходила к окошку — выкурить сигарету. Она спрашивала, как движется книга, я неопределенно пожимала плечами — мой обычный ответ на вопросы о работе. Да я и не понимаю, что значит «как движется книга»! Бывает, я целыми часами сижу перед монитором, глядя на мерцающую черточку курсора в ожидании, пока придет следующее слово, и если в такой день я напишу целое предложение, это уже счастье. А иной раз я загоняю себя, несусь без передышки, пропускаю буквы, а то и слова, не поспевая за ними, извергая из себя текст, как вулкан лаву. Иногда я не пишу ничего, мечтаю, прислушиваюсь, жду, жду, терпеливо жду...

Сейчас я пишу роман о мальчике. Его зовут Робен, ему десять лет, его родители погибли во время аварии, и он летит в Южную Африку, к своему единокровному брату, сыну отца от первого брака. К брату, которого Робен никогда в жизни не видел. Рассказывает историю сам Робен. Он считает себя виновником смерти родителей, их убийцей, потому что в тот вечер ел шоколад у себя в детской, испачкал пижаму, родители его наказали и так сильно накричали на него, что в какую-то минуту он подумал: лучше бы они умерли. Такие уж у него были родители — позволяли ему часами играть одному на улице, жечь костры из газет во дворе за домом, ловить ящериц и совать им в рот сигареты, чтобы они взрывались... а потом вдруг устраивали скандал из-за несчастного пятнышка на пижаме! В голове мальчишки все перемешалось, он рассказывает историю своим детским языком, он употребляет именно те слова, какими говорит десятилетний ребенок, он несколько заносчив, нахален, он озорник, даже в какой-то степени хулиган, но когда полицейский звонит в дверь, он убежден, что несчастный случай произошел по его вине. Вот и вся история, которую я хочу рассказать.

Мне было бы трудно объяснить, почему одни истории легко складываются, легко записываются, другие — никак. Иногда мне кажется, что вот уже есть все, чтобы начать, вроде бы и выждала нужное время, вроде бы и созрел рассказ, как созревает плод на ветке, и ты полна желания рассказать, но... но — поди пойми, по какой причине — слова не идут. С годами я научилась терпеливо их ожидать, научилась тому, что есть дни, когда надо писать,

и дни, когда надо... как бы это сказать... помалкивать, используя их для отладки всех своих систем, пока не пишется, чтобы вовремя почувствовать: уже скоро, скоро, уже... А еще я научилась тому, что вовсе не нужно все контролировать, книга — не кулинарный рецепт, где все точно отмерено и выверено. История Робена — одна из многих историй, которые роятся в моей голове давным-давно, и одному Богу известно, сколько раз я садилась к столу записать ее. Ну и — досада, и злость, и отчаяние, потому что ничего не выходило. А теперь, несколько месяцев назад, когда я снова попробовала начать рассказ о Робене, слова вдруг посыпались, как созревшие яблоки, картинки сложились и работа пошла... Почему сейчас? Неужели раньше мне не хватало простодушия и беспечности, чтобы рассказать о чувстве виновности у десятилетнего ребенка и первых шагах, которые ему поневоле приходится сделать во взрослом мире? А может быть, для этого рассказа просто не настала еще пора?

В последнее время, когда мы вечерами разговариваем с Анной, слова доносятся до меня как сквозь туман, я не могу сосредоточиться, и она это понимает. Конечно, я начинаю извиняться, сообщив, что не слушала и не слышала заданного ею вопроса, а она между тем ждет ответа, но дочь привыкла к тому, что я витаю в облаках, она говорит: «Да ладно, мама, это не так уж важно!» — и встает. Я понимаю, как ей больно, что я себя веду так, будто настоящая моя жизнь — не здесь, не сейчас и не с ней, а в моих книгах, ей же все ясно, и она страдает, но ничего тут не поделаешь.

Анне было двенадцать лет, когда она сожгла мою неоконченную рукопись. Это не была случайность — она сделала это сознательно. Положила рукопись в умывальник, подожгла длинными каминными спичками, смотрела, как горит бумага, до тех пор, пока все листы не оказались наполовину сожжены, и только тогда открыла кран. Когда я вернулась домой, она мне спокойно сказала: «Я сожгла твою книгу». Кровь застыла у меня в жилах, сердце остановилось. Я сжала кулаки и заорала бы, выплеснула бы на нее свою ярость, свое отчаяние, да, обо всем этом мне хотелось ей прокричать, но Анна стояла, заложив руки за спину. Она ждала наказания. Она прямо смотрела мне в глаза, мужественная, дерзкая. И мне вдруг стало ее жалко, мне вдруг стало невозможно ее жалко — ее, такую умницу, ее, которая дошла до того, что загубила нечто мне дорогое. А ведь ей было хорошо известно, *как* это мне дорого. Я почувствовала себя совершенно бессильной, я поняла, что сама виновата в этом ребяческом отчаянии, никто больше не виноват, только я одна. Ведь каково это ребенку — понимать, что тебя вытеснили книги? Я бросилась к Анне, крепко-крепко обняла, прижала к себе. И потом старалась быть к ней внимательнее, чаще оставаться дома, когда она возвращается из школы, проводить с ней больше времени, ходить с ней куда-нибудь в субботу-воскресенье, только мне казалось, что она от меня устает. Я даже записала нас обеих в студию современного танца, но Анна неохотно ходила на занятия, она явно скучала в зеркальном зале, где женщины старались убедить себя в том, что еще соблазнительны. И когда было решено студию бросить, она вздохнула с облегчением и больше уже никогда не жаловалась на то, что я слишком много времени отдаю книгам. Но это не значит, что она меня простила.

Она читала мой первый роман, «Понапрасну», — тот, который был написан во время беременности. В книжке рассказывалось, как старики-супруги, прожившие полвека вместе, решили развестись и едут теперь в поезде. Они никогда не ссорились, у них никогда не было детей, всю жизнь они только и делали, что работали, и вот теперь, когда стали совсем старенькие и глуховатые, когда их измучили боли в суставах и невозможность согнуться-

разогнуться, они решили развестись — без всяких видимых причин, нипочему, просто сама мысль о разводе словно бы открыла им дорогу в новую жизнь. Анна прочитала этот мой роман подростком и с тех пор не читала ничего из мной написанного. А тогда сказала, что книжка показалась ей грустной, да-да, ей грустно, что эти старики разводятся ни с того ни с сего, потому как она уверена: самое прекрасное на свете — это вместе стариться...

В утро свадьбы Анны, пока она еще спит, а я прокладываю себе путь между горами пакетов, собравшихся за последние дни, — подарками от упрямцев, не желающих придерживаться списка подношений, «заказанных» молодоженами, — у меня все крутится и крутится в голове фраза, сказанная моей дочкой в пятнадцать лет. «Самое прекрасное на свете — это вместе стариться...» Я думаю, что как раз этого я ей сегодня и пожелаю, пусть даже сердце у меня разорвется от такого пожелания, ибо я-то убеждена в обратном: самое прекрасное на свете — найти в себе мужество, состарившись, расстаться. Но я скажу Анне не это, я скажу, что от всей души желаю ей состариться вместе с ее судебным исполнителем, вместе с ее мужем, вместе с любовью всей ее жизни Аленом... И тут на меня — как на моего маленького героя Робена — нападает жуткий страх, я пугаюсь, что это пожелание осуществится, что полицейский постучит в дверь и обвинит меня в том, что это я, я пожелала, чтобы эти двое оставались вместе вечно, чтобы они были связаны в жизни и в смерти.

Я перепробовала все кофейники и кофеварки, какие только можно себе вообразить (и даже такие, каких не выразишь), чтобы доставить удовольствие дочери. Итальянские, турецкие, обычные и навороченные, шумные, как в бистро, и беззвучные, с заложенной в них наперед, на несколько дней, программой и без таковой... И ни разу мне не удалось добиться коричневой пенки, которую так любит Анна. По-моему, кофе она любит больше и прежде всего за эту матовую туманность на его поверхности. К двадцатитрехлетию Ален подарил ей аппарат в виде НЛО: достаточно, откинув люк, заложить туда нечто вроде маленькой капсулки, нажать на ручку, и — хоп! — вот тебе чашечка потрясающего кофе с коричневой пенкой наверху. Анна в восторге. В любое время дня и ночи слышу теперь шипение кофеварки, и квартира мгновенно наполняется волшебным ароматом. Мне очень нравится, как пахнет кофе, пусть даже сама я никогда его не пью.

Есть много такого, что мне нравится, что я люблю вдыхать, обонять, ощущать рядом с собой и вокруг себя, сроду не попробовав. Ром, сигары, бензин, масляные краски, потный мужик в автобусе, легкая вонь, идущая от Соны летним днем... Когда я жила еще дома, там, по ту сторону Африки, я обожала горько-сладкий запах хлебного дерева, я прилипла лицом к шершавому бугристому стволу и вдыхала его, вдыхала, впитывала в себя до тех пор, пока не начинало казаться, будто у дерева уже не осталось никакого запаха — он весь во мне. Мне нравилось, как пахнет ромом от торговки на рынке, нравился прогорклый запах губной помады моей старенькой тетушки, аромат маминой английской пудры, яблочного мыла, нравился пахнувший апельсином полосатый ластик — я его все время грызла и сплевывала крошку... С тех пор апельсин неизменно вызывает в моей памяти школу: студеные утра на высоком плато, где жила наша семья, тяжеленный, битком набитый тетрадками и книжками ранец, от ремня которого оставался след на плече. Апельсин заставляет меня вспоминать детство — такое далекое, почти нереальное. Достаточно увидеть апельсин — и вот передо мной просторный асфальтированный двор, почерневшие от дождей стены, этот школьный двор без качелей и вообще без всякой игровой площадки, двор, по которому мы носились на переменах. И наши вопли, стоит раздаться звонку, извещающему о том, что уроку конец, и наше молчание, когда новый звонок призывал обратно в класс. И наши вечно голодные желудки, и то, как хотелось есть и пить в определенное для этого время, наши рефлексy — не хуже, чем у собак Павлова. Ровно в десять мы выстраивались в шеренгу и нам половником наливали молоко из алюминиевых бидонов. Водянистое, безвкусное молоко. А кроме него каждый из нас, школьников третьего мира, получал в виде помощи от международной организации сушеную грушу, черную и твердую, как гранит, — берегитесь, молочные зубы! Белки и витамины, объяснял нам учитель, выдавая каждому его порцию. Мы стояли в ряд, в одной руке стакан молока, в другой — черная груша, наши рты были украшены белыми усами, и мы жевали, жевали, жевали эти не поддающиеся съедению витамины. Нам казалось, что все дети в мире — такие же, как мы, такие же умники в школьной форме, до дна и с благодарностью выпивающие молоко, от которого на самом деле тошнит, и жующие сухофрукты, от которых все нёбо ободрано, а зубы обломаны. Нам казалось, все дети — такие, как мы, не знающие, что такое бунтовать, пришедшие в мир, чтобы выучить наизусть все, что написано в книгах, и хорошо сдать экзамены.

Вот Анна и проснулась... я слышу... Я машинально собираюсь в кучку, беру себя в руки

— так, словно боюсь показать ей старые свои тревоги, боюсь, что она увидит меня такой, какая я есть, — ленивой, печальной, сумасбродной... Она там, у себя в комнате, пока молчит, не выходит, и я знаю, что она рассматривает платье. Может быть, даже поглаживает его слегка — довольная, что оно тут, что оно ей не приснилось... Потом она зевает: «ААААААААААА!» — и я хихикаю. А когда она выходит на кухню, она видит, что улыбаюсь, а я вижу в ее лице что-то такое, чего никогда прежде не замечала. Нежность, снисходительность ко мне... Так смотрят на старичков, которым уже трудно идти быстро, но которые изо всех сил стараются не мешать пройти вам.

Говорю, что с удовольствием сварила бы ей кофе, но она уже упаковала своего Е. Т.^[5] — так я называю ее новую кофеварку, и Анна отвечает, что, мол, это ничего, она выпьет чаю. И садится на табуретку, и опирается локтями на стол, и личико ее в обрамлении темных волос выглядит совсем детским, и мне кажется, я вижу себя, двадцатилетнюю. Ладно, займусь-ка я чаем и постараюсь превзойти тут саму себя, показать, на что способна. Но не только это.

Беру чайник для заварки — это японская керамика, он тяжелый, черный, гладкий, как галька, которую годами ласкали волны. Вода — минеральная, конечно, надо довести ее до кипения, но не дать закипеть. Чай — смесь черного с апельсиновой цедрой, щепоткой корицы и намеком на розовые лепестки. Даю чайнику нагреться. А теперь надо залить две ложечки чайной смеси этим недокипятком... Вынимаю из буфета две чашки голубого фарфора, у них тонкие, хрупкие ручки, — эти чашки остались от Мэтью, отца Анны, только я никогда ей об этом не говорила.

— Хм... раньше мы никогда не пили из этих чашек...

— Не пили. Они слишком хрупкие, и я боялась, что они разобьются. Но сегодня — другое дело.

— Красивые какие... Ты где их купила?

— В Ноттинг-Хилле^[6] двадцать три года назад. В магазинчике, где хозяином был англичанин, хорошо говоривший по-французски. Там вообще было полно всякого старья — разные кружева, пояса, такие грязноватые безделушки, украшения, коричневые, выцветшие фотографии, где уже почти ничего не различишь, ну и вот, на столике, который хозяин выставил наружу, на тротуар, я и увидела между двумя кувшинами эти чашки... На самом деле их было три.

— А ты купила только две?

— Нет. То есть да, третью взял человек, который был со мной.

— Это кто же?

Тут я решила, что пора разливать чай. Аккуратненько поставила чашку перед Анной и осторожненько стала лить в эту чашку горячий напиток. Цвет получился что надо — красивый, золотисто-коричневый, цвет чая очень важен. Анна смотрела на мои манипуляции, она, кажется, забыла о только что заданном вопросе. Я не забыла, и меня от него еще малость потряхивало. Я налила чаю и себе, просунула указательный палец в ручку (как просовывала его в шлевку на поясе брюк Мэтью), приподняла чашку, сказала: «За тебя, за то, чтобы вы с Аленом смогли состариться вместе!» Глаза у Анны увлажнились, заблестели, рука слегка дрогнула, — может, оттого, что трудно было просунуть палец в тесное колечко, а может быть, она разволновалась от услышанного; как бы там ни было, она тоже приподняла чашку, придерживая ее для надежности другой рукой, ответила: «За тебя, мама, спасибо!» — и мы стали потихоньку попивать чаек из чашек моего английского прошлого.

Когда мне было восемнадцать, я провела девять месяцев в Лондоне — работала там официанткой в баре для геев. Мне хотелось дать себе отсрочку перед возвращением в Париж, к учебе. Меня в те времена тянуло к другим, и в те времена я еще ничего особенно не боялась. Я просыпалась каждое утро с ощущением, что вот-вот случится «нечто», с легким замиранием сердца, предвестником какого-то возможного чуда, возможного счастья... Я тогда была храброй, меня переполняли самые разные желания, и я была уверена, что каждый день способен принести кучу приятных сюрпризов, да-да, приятных, само собой разумеется, приятных! Юность — недостаточное оправдание для подобных иллюзий в подобном количестве, недостаточное оправдание для стольких надежд, но ей присуще это радостное чувство, что все доступно, все может случиться, все, кроме несчастья и несправедливости, — их оправдать было бы нельзя, и вообще они не для нас.

Жизнь завсегдатаев бара сосредоточивалась вокруг двух-трех рюмок, здесь они давали себе передышку от лжи, на которую вынуждала их жизнь вне бара, здесь им не было нужды притворяться гетеросексуальными, *straight*,^[17] как говорят англичане, «правильными», живущими «как положено». Это не было еще сегодняшнее Сохо, мужчинам не хватало смелости прилюдно держаться за руки, о СПИДе едва заикались.

Я пошла туда работать, чтобы не расставаться с Вирджинией, английской подружкой по Сорбонне. Ее брат был геем, он умер от СПИДа три года назад. Джеми был, наверное, одним из самых красивых парней, каких я только встречала в жизни. На него с одинаковым удивлением и восхищением, а порой и с одинаковым желанием смотрели мужчины и женщины. И секрет не в изяществе отдельных черт лица, красивым его делало их сочетание. Пухлые губы, прямой, почти что строгий нос, словно вышедший из-под резца талантливого скульптора, скулы... да, эти чертовски прекрасные высокие скулы, они круглились, когда он улыбался... изысканно вычерченные брови, длинные ресницы и — особенно — веки, тяжелые веки, прикрывавшие покрасневшие, усталые от бессонных ночей серо-зеленые глаза... Именно веки составляли контраст со всем остальным, подчеркивая неприступность этого лица, такого красивого и такого таинственного, — веки старика на лице юного греческого бога. Узнав о смерти Джеми, я подумала: а что могли годы, спиртное, наркотики и, главное, болезнь сделать с этим лицом? Оставили они хотя бы искру прежней божественности или съели, поглотили все...

Вирджиния теперь живет в Йоркшире, у нее собаки, муж — любитель псовой охоты и трое детишек — светленьких и розовых, как поросята. А ведь это была самая ненормальная девчонка из всех, каких я знала и знаю. Каждый месяц она отправлялась к одному из тех, давишних, лондонских психов-стилистов (парикмахеров-художников, уточняла она неизменно) и выходила от него с торчащими в разные стороны волосами всех цветов радуги. Она никогда не отказывалась от травки и, подозреваю, время от времени прибегала к кокаину. Что до меня, я довольствовалась своей работой, рассматривала этих мужчин, которые обнимались, целовались и терлись друг о друга, и чувствовала себя здесь, в этом мире, где я не существовала как женщина, спокойной и защищенной. Я могла сколько угодно мечтать, могла о чем угодно писать, не рискуя, что кто-то поинтересуется тем, что я делаю. Я была свободна — да, думаю, именно это чувство было главным, с ним я просыпалась тогда каждое утро.

Мэтью я встретила в книжном магазине позади Британского музея. Он искал что-то про Африку, приставал с этим к продавцу, и тот не знал, как от него отделаться. Когда он прошел мимо меня, я улыбнулась, и он сказал мне по-английски, что некоторым продавцам

лучше бы стоять по ту сторону, — и показал на музей. Я снова улыбнулась. Он двинулся к двери, но остановился, обернулся и пригласил меня выпить с ним кофе по-ирландски. Так вот и сказал в первый день нашего знакомства: «Would you fancy an irish coffee?» И мне почему-то не показался странным для первого свидания этот напиток — смесь ирландского виски и кофе с сахаром и сливками... Интересно, а Анна пробовала ирландский кофе? Знает его вкус?

Мы устроились в баре на Пикадилли, и я до сих пор помню, как зашумело у меня в голове после первого глотка этого кофе. Так сразу, резко. В баре мы просидели — проболтали, просмеялись — до тех пор, пока я не спохватилась, что пора бежать на работу. Мэтью спросил, пускают ли к нам гетеросексуалов, пошел со мной и на весь вечер приклеился к стойке, вежливо уклоняясь от приставаний.

Иногда он говорил: «I'm with the lady» — и мне тут же приходила в голову глупая мысль о том, как ДФК говорил: «I'm the man with Jacky».^[8]

Мэтью появлялся в нашем баре три недели подряд каждый вечер, нам приходилось говорить громко — из-за музыки, мы не всегда друг друга понимали и смеялись над этим: чуть ли не орать и все равно не слышать, что тебе сказали! — нам казалось смешным находиться в приюте тайных страстей и не хотеть ничего, ровно ничего изменить... Первый раз мы поцеловались под песню «Those Were the Day»^[9] — знаете как? Наклонившись друг к другу через стойку — только лицами соприкоснулись. А после работы я пошла к нему, и нам пела Нина Саймон,^[10] и мы любили друг друга... Мэтью учился на факультете журналистики и мечтал уехать в Африку. Такая, по его словам, у него была цель: уехать туда, где все началось. А я сказала в ответ, что пишу понемножку. Тут он приподнялся на локте, глаза его загорелись, и он признался, что сразу понял — я не из обычных девушек. «Not a common girl».^[11] Никогда еще я не слышала таких прекрасных слов в свой адрес. Я осталась у него. Утром он уходил на занятия, а я часов до двух писала в толстой школьной тетрадке, потом шла гулять или читала. Шекспир, Вульф, Диккенс, Бронте... Одни только англичане, хотя я писала по-французски!.. но это меня не смущало, скорее, наоборот. Ни французский, ни английский не были для меня родными, они не оспаривали друг у друга первенство, а писала я всегда только по-французски: мир, который я придумывала, говорил на этом языке, и тут выбор не вставал. К пяти я шла в бар, в восемь туда приходил Мэтью. А в час ночи мы отправлялись домой — его рука на моем плече, мой указательный палец просунут в шлевку на его брюках. И я всегда просыпалась с трепетом в сердце, просыпалась еще до того, как открою глаза, и спокойствие, нежное и ужасающее спокойствие, которое было со мной и во мне раньше, исчезло безвозвратно. Дни пролетали быстро, я ощущала, что время все ускоряет свой бег, и ничего не могла с этим поделать.

Прошло больше двадцати лет, а я так хорошо помню, какая светлая у него была кожа, помню сотни родинок, рассыпанных по всему телу. На спине — целые созвездия. Я часами рассматривала эти созвездия, отслеживая пути звезд, — конечно же, конечно же, это были не просто родинки, это были звездочки, я гладила пальцем более выпуклые, я целовала вновь открытые и возвращалась с поцелуями к открытым раньше. Он позволял мне делать что угодно, терпел, он засыпал под моими ласками. Порой, когда мы шли по улице, я думала: а ведь никто на свете, кроме меня, не знает, что все его тело усыпано звездами, и такую гордость от этого испытывала — даже сравнить не с чем.

Мэтью совсем плохо знал французский, но просил меня читать написанное вслух. Он

садился на пол, привалившись спиной к стенке, скрещивал руки на груди, вытягивал ноги и слушал. Иногда мне казалось, что он растроган — по какой причине, было не понять, он уверял, что музыка моего текста сама по себе печальна, — и тогда он подходил ко мне, опускал голову мне на колени и говорил самые главные слова на свете. Наша любовь была самой искренней, самой настоящей и самой безыскусной.

Одно время я думала, что могла бы прожить здесь, в этой почти пустой квартире, всю жизнь. Что не устала бы ни от гаража, который находился прямо под нами, ни от метро — поезда проходили рядом, и земля, от них дрожала. Что не соскучилась бы по своей стране, а лондонские серые тучи и бесконечные дожди не вогнали бы меня в депрессию. Но мне было отпущено не так уж много времени на эти мысли, мне было отпущено не так уж много времени на то, чтобы купаться в этом счастье, возвращаться и возвращаться к этому блаженному ощущению.

Мэтью выиграл конкурс молодых репортеров, организованный крупным журналом, и ему нужно было улететь в Африку. И тут тоже — как со временем, которое летело все быстрее и быстрее, — было ничего не поделать.

В воскресенье мы пошли в Ноттинг-Хилл, и он купил там три чашки. Назавтра он улетал в Мали. «Ба-ма-ко», — то и дело повторял он на разные лады, так произнося это название, будто смаковал что-то необычайно вкусное. А я не грустила. Ну а как я могла грустить, если тот, кого я люблю, улетал к той жизни, которая влекла его больше всего на свете? Мы спокойно возвращались домой — с тремя чашками в моей матерчатой сумке, мы шли — его рука на моем плече, мой указательный палец просунут в шлевку на его брюках, мы шли, как будто ничего не произошло, как будто завтра — такой же день, как другие, как будто завтра снова начнется с наших милых повседневных привычек. Придя домой, мы любили друг друга — тихо, нежно, без слов. А потом я долго рассматривала его усеянное звездами тело и думала, что если нужно было бы что-то непременно запомнить, то это и были бы они, сотни родинок, которые словно образовывали вторую его кожу — небесную.

И когда сегодня, больше чем двадцать лет спустя, я закрываю глаза, я вижу его спину и эти коричневые, черные, иногда красноватые, как ржавчина, пятнышки. Я вспоминаю самую большую родинку — под левой лопаткой, и другую — на правой ягодице, в зависимости от того, как падал свет, она казалась более или менее красной. Я вспоминаю дорожку из точек — как будто крошечные круглые зверьки бегут друг за дружкой чуть правее и ниже его плеча. Я вспоминаю свою юную смуглую руку, свои пальцы на этой волшебной спине.

Назавтра мы пили чай из наших тонких фарфоровых чашек, мы обещали друг другу жить... Нина Саймон пела «Мой путь». «...Мила теперь вдвойне моя судьба, моя дорога, пускай осталось мне не так уж много...»

— Ты продолжай писать, хорошо? И постарайся издаваться, чтобы я когда-нибудь смог напасть на твой след...

— Да.

Мы не обещали друг другу видиться, писать, звонить, рассказывать, что нового, — мы не обещали ничего из того набора, что обязательно порождает обманы и сожаления. Он взял себе одну из трех чашек — вот и все. Последний его образ, сохранившийся в моей памяти: молодой человек с печалью в глазах машет мне рукой из окна.

Я, так любившая Лондон, так любившая этот город, где в уличной толпе шли рядом панк и рыжая обывательница в строгом костюме, индуска в сари, шотландец в килте и бизнесмен, я, каждый день заново влюблявшаяся в ветер, в траву, в эту нигде и никогда не

виданную, небывалую голубизну неба, когда погода ясная, — я не могла больше здесь оставаться. И все-таки я почти не плакала. Ко мне пришло понимание: я пережила начало чего-то, что многие мужчины и женщины ищут всю жизнь. Теперь я думаю иногда, что, может быть, лучше было бы мне и не переживать этого, не знать совсем, тогда бы я всякий раз, знакомясь с женщиной, не ждала повторения этого душевного покоя, этой тишины, этой нежности пополам со страстью... А то ведь как будто мне дали попробовать кусочек самого прекрасного плода на свете, но только кусочек, один-единственный, большего я не заслужила.

Я вернулась во Францию, в Париж, в комнатку под крышей — и там, в начале лета, поняла, что беременна. Об аборте не подумала ни разу. Как ни разу не подумала о том, чтобы найти Мэтью и сказать ему. Родители чувствовали себя несчастными, злились, приставали ко мне, они часами морочили мне голову, пытаюсь воззвать к рассудку, рисуя мне кошмарное будущее матери-одиночки, но я не слушала. Я никого не слушала. Анна родилась ближе к концу зимы, в феврале. Помню, как первый раз взяла ее на руки. Я рассматривала ее тельце — все целиком, я увидела родинку — и на меня будто накатила волна любви, накатила, захлестнула. Может быть, это пробудился так называемый материнский инстинкт, но я так сильно подумала в этот момент о Мэтью, что мне показалось, будто он рядом, я ощутила его запах, я понимала всю невозможность этого, знала — это просто усталость, это она заставляет меня поверить в такое, только все равно я чувствовала, что не одна, в ту минуту, когда первый раз взяла Анну на руки.

Когда родилась моя дочь, мне только-только исполнилось двадцать. Сегодня, когда я думаю об этом, меня настигает запоздалый страх, такой, что дыхание перехватывает. Сколько раз — особенно в первый год жизни моей дочки — я жалела, что сохранила беременность. Считается, что матери знают, матери умеют... Я ничего не знала и не умела. Часто я плакала вместе с ней, потому что не знала, что делать, как делать, часто я была одинока до того, что хоть подохни, была такая усталая, что засыпала, сидя на стуле с Анной на руках, пока она сосала грудь. Я делала для нее слишком много или недостаточно? То, чем был наполнен... донельзя переполнен каждый мой день: покормить Анну, перепеленать Анну, помыть Анну — этого было достаточно, чтобы она знала: я люблю ее? Не нужно было чего-то другого?

Когда я сейчас читаю статьи о *baby blues*^[12] — о послеродовой депрессии, я всей душой сочувствую женщинам, ее переживающим, потому что сама полной мерой хлебнула, каково это — остаться одной с ребенком. И помню черную дыру, которая тебя засасывает с наступлением ночи, когда приходит тишина, когда твое дитя наконец засыпает. Это тело, которое уже словно бы не твое, — и ты моешь его, ничего при этом не чувствуя; это оупение, которое никак не удастся стряхнуть, и ты от всего отрезана, тебе ничто не интересно, — ничто, кроме твоего ребенка, и ты начинаешь злиться на него за то, что с тобой происходит.

Но и в тот первый год все мои разочарования и страхи уходили, все слезы высыхали, уныние, проникшее, казалось, в кровь, отступало, стоило Анне улыбнуться. Она мне улыбалась — и в эту минуту любые звуки и движения обретали смысл.

Я бросила учебу, но очень быстро нашла работу: меня взяли корректором в женский журнал. Журнал выходил по четвергам, это был Париж восьмидесятых, время, когда чуть ли не счастьем было родиться женщиной. Девушки в редакции оказались симпатичными, главный редактор меня полюбила, иметь в штате женского журнала мать-одиночку

соответствовало духу времени. Когда Анне исполнилось три месяца, я отдала ее в ясли, я попросила и без труда получила французское гражданство.

А в одно прекрасное декабрьское утро 1982 года, за три дня до Рождества, когда я, глядя на спящую у меня на руках дочку, раздумывала над тем, значит ли что-нибудь Рождество для человека ее возраста, раздался телефонный звонок. Я взяла трубку и услышала мужской голос: «Добрый вечер, мадам, это Ив Лоран из издательства „Лоран“, могу ли я поговорить с Соней?» Сердце у меня забилося так, что Анна, спавшая у моей левой груди, проснулась. Некоторое время назад я отправила в это издательство рукопись, подписанную только именем. Еще написала там номер телефона. И все. Я очень долго возилась с титульным листом, выбрасывала один черновик за другим, потом наконец поставила на чистом листе бумаги название — «Понапрасну», под ним приписала «роман», а ниже — свое имя и номер телефона. Как будто я заключенная: имя и номер. У Ива Лорана был актерский голос, глубокий и проникновенный, тон — уверенный, очень спокойный. Через два дня я подписала договор. До сих пор помню состояние, в котором находилась в течение нескольких недель, — как будто меня всю окутало нежное, теплое облако, кокон, и одновременно страх, что это все только снится, и радость, которая немедленно прогоняла страх, как только я осознавала, что нет, не сон, правда — мой роман прочитан, одобрен и скоро появится в книжном магазине.

Ив так и остался моим издателем. Теперь ему шестьдесят пять лет, и мы вот-вот увидимся на свадьбе Анны. Ив — один из немногих моих друзей, к которым Анна привязана. Им всегда хорошо вместе, у них даже своя игра, и они друг над другом очень мило подшучивают. Анна называет Ива Раस्ताпопулос — не знаю почему, просто не понимаю, какое отношение этот уродливый бандюга-грубиян из комиксов имеет к Иву, но его самого прозвище смешит, и в ответ он называет Анну Кастафиоре.^[13] Этого я тоже не понимаю. Прозвища у них появились после того, как Анна гостила у Ива и его жены Каролины в Бретани. Может быть, Ив и Каролина читали девочке «Тентена», чтобы она заснула? Они, у которых никогда не было своих детей... Ладно, не в этом дело, а в том, что клички эти делали их словно бы сообщниками, у них была своя история и свои секреты, и все это — без меня. Ну и пусть, так даже лучше. Ив и поведет ее сегодня в 17.30, как предусмотрено программой, к алтарю. Она попросила его об этом в письме, еще четыре месяца назад. Я, конечно, обрадовалась, но и загрустила: вообще-то была надежда, что она попросит об этом меня, так уже бывало — чтобы матери вели дочек к алтарю, только, наверное, ей и это казалось «смешным и нелепым»... Я подумала о Мэтью, подумала: где-то он будет в то время, когда чужой человек передаст его дочь, всю в белом, молодому мужу, но в конце-то концов, какая разница... Ив — это тоже хорошо.

Анна медленно потягивает чай, а я смотрю на нее и думаю: почему она так спокойна, так безмятежна в день свой свадьбы, спокойна, несмотря на то, какой это важный, значительный день, спокойна, несмотря на то, что сегодня ей предстоит брать на себя такие серьезные обязательства, спокойна, несмотря на то, что впереди совместная жизнь, может быть, дети, новая фамилия, которую она возьмет вместо моей — Анна Боврьё. Она сказала мне с весьма торжественным видом, что поменять свою фамилию на фамилию мужа — одно из доказательств любви.

С некоторых пор можно подумать, будто мы поменялись ролями, теперь мать — она, потому что она все время меня поучает и все время внушает мне, что такое семья, каковы должны быть традиционные и незыблемые семейные ценности и так далее. Как будто,

обзаведясь новым статусом — став почти замужней женщиной, она одним этим поднялась на ступеньку выше меня. У меня уже просто на языке вертелся ответ, еще немного — и я бы сказала, что люди всю жизнь ищут свободы и в то же время сами себя запирают в клетке, как она со своим замужеством. Что она ошибается, думая, будто обручальное кольцо на пальце делает ее умнее, мудрее, тверже. Но я давно поняла, что чужой опыт ничегошеньки не дает. Впрочем, много ли мне дал мой собственный опыт?

Когда ты слышишь, как люди говорят банальности, тешат себя смешными надеждами, ты понимаешь, что рано или поздно рутина шваркнет-таки их мордой об стол, что жизнь вдвоем — не сахар, что любовь доказывают не в день свадьбы обменом своей фамилии на чужую, любовь доказывают каждый день — тем, что всегда прощают. Когда ты видишь, как долгие часы ищется платье, делается завивка, выбирается кружево, посылаются пастельных тонов открытки с рельефными цветочками, расходуются бешеные деньги на торт в четыре этажа и холодный замок, когда ты видишь все это, остается одно — молчать и улыбаться. Ну и когда моя дочь учит меня жить, я молчу и улыбаюсь.

Сегодняшний день строгой своей выверенностью похож на спортивные часы: с хронометром, барометром, тонометром. Мою личную программу Анна выдала мне еще позавчера. Дочь хорошо меня знает — и знает, что дай мне свободный час, и от моих собственных души и тела останется только пустая оболочка, которая тут же и заполнится людьми, о которых мне хотелось бы написать, и я унесусь неведомо куда и затеряюсь в запутанных нитях воображаемых жизней. Она боится, а не забуду ли я — хотя бы и на одно мгновение — о том, что сегодня *ее* день, *ее* история, и она эту историю раскатывает, как бархатный ковер, и нельзя, чтобы на нем была пусть даже и единственная морщинка, складочка, нельзя, чтобы хоть кто-то споткнулся, ни к чему эти затягивания, хитрые маневры, умолчания, скобки, пробелы — все, из чего на самом деле состоит моя жизнь, чем она наполнена, как и все, что я пишу. Она просит сосредоточиться сегодня на ней, именно так я и сделаю. Не хмурясь, не ропща, не брюзжа и не жалуясь, я постараюсь держаться подальше от своего компьютера, забуду на время о рукописи, которую правлю, и о письмах, которые должна написать, ну а главное — ни на шаг не подпущу к себе мысли, которые меня осаждают.

В десять я должна быть у парикмахера — вместе с Анной. Ровно в десять, минута в минуту, — так она написала в программе. Такси должно быть заказано на полдесятого, мы приедем к мастеру заблаговременно, но это необходимо — чтобы на бархатном ковре не появилась морщинка. В половине двенадцатого за нами приедет машина (за рулем Эрик, друг Алена, — он тоже заранее все расписал), и мы поедem в Эн, к замку. По дороге захватим Ива, мне еще надо не забыть свою одежду, сумочку, всякие мелочи. В тринадцать часов мы обедаем в Артемаре^[14] — в местном ресторанчике заказан столик на троих — на Анну, на меня и на Ива. В шестнадцать будет гражданское бракосочетание — это простая формальность, говорит Анна, — в семнадцать тридцать венчание (религиозная церемония будет проходить во дворе замка), потом — праздник. Я ночую в замке, а завтра — ровно в одиннадцать — возвращаюсь к себе, теперь и навсегда я буду здесь одна и смогу опять вести свою жизнь, состоящую из подробностей и умолчаний. Вот такая у меня программа.

А Анна с Аленом завтра вечером уедут в Венецию, как тысячи новобрачных до них, и это заставляет меня вспомнить о групповых свадьбах в Корее, о маленьких черных и белых мышках на площади... Я бы на их месте поехала в Тимбукту, но я не на их месте, я вообще не знаю, как это — выходить замуж, не знаю, что такое медовый месяц, который длится целую долгую неделю, который дает людям возможность существовать вне времени и житейских реалий.

Я осторожно мою голубые чашки. Протираю, боясь сломать тонкий фарфор, если нажму чуть сильнее, смотрю за тем, чтобы вода была все время одинаково теплой: они же могут треснуть от перепада температуры. Пока я мою эти чашки, мне кажется, что Мэтью снова со мной, что двадцать три года без него были не двадцать три года, а двадцать три часа, и впервые думаю о том, что, может быть, была не права, когда не стала его искать, и зря не хотела на него давить, не хотела просить, чтобы остался со мной, может быть, если бы я плакала, кричала, вопила о том, как люблю его, он бы остался... Впервые думаю о том, что, может быть, он умер, давным-давно похоронен, забыт всеми, а я продолжала все это время жить — без каких-либо предчувствий, без особой грусти — с дочерью-безотцовщиной, с

самой собой — сиротой без любви. Я вздрагиваю — еще немного, и раздавлю драгоценные чашки, так что лучше побыстрее их ополоснуть, вытереть и убрать на верхнюю полку. Это занятие меня успокаивает, мне мерещится в этом знак — доказательство того, что Мэтью жив. А была бы я уверена, что его нет на свете, если бы разбила чашку? С возрастом я становлюсь суеверной. Цепляюсь за приметы, утешаю себя случайными событиями, делаю себе амулеты из прошедшего времени, талисманы с синим утром — и думаю, что гроза смоем любые сожаления...

Анна у себя в комнате, она меня зовет, просит помочь с упаковкой подвенечного платья, и я вспоминаю о приготовленном для нее пакетике. Иду за коробочкой, обернутой красной бумагой, приношу, протягиваю ей и говорю: «Something old, something new, something borrowed and something blue!» Когда я перехожу на английский, Анна знает: сейчас будет сказано нечто важное, это неписанный семейный закон, своего рода договор, один из тех, что возникают сами собой, когда люди долго живут вместе. Анна садится на край кровати, рядом с платьем, она уже сняла его с плечиков, край юбки чуть завернулся, коснувшись пола, может замяться, на ткани останется след, и Анну это будет раздражать, но сейчас она держит в руках коробочку. Сначала минутку словно бы греет подарок в ладонях, благодарит меня — тихонько, оно будто с выдохом вылетело, это «спасибо», потом начинает снимать упаковочную бумагу. Делает это осторожно, стараясь подцепить кончиком ногтя скотч, который ей хочется отклеить поаккуратнее. Первое, что она видит и вынимает, — чуть пожелтевший с годами платочек. Старенький муслиновый платочек. Говорю ей, что он сохранился от моей мамы. А она спрашивает: «Бабушки-людоедки?»

Мама умерла, когда Анне было пять лет, они никогда не видели друг друга. А когда моей дочке исполнилось десять, я подарила ей наполовину заполненный альбом для фотоснимков. В нем были фотографии моей семьи. Под одной из них, портретом мамы в молодости — с таким же, как у меня, туманным, ускользающим взглядом, который выдавал такой же, как у меня обычно, страх перед камерой, — под этим снимком Анна написала: «Бабушка-людоедка». Мы тогда все время читали с ней волшебные сказки, разыгрывали их, и я брала себе роли чудовища, волка, дракона, людоеда или людоедки, злой мачехи... Подпись и сейчас вызывает у меня улыбку, потому что я совершенно уверена, что Анна и моя мама прекрасно бы спелись. Обе они достойно выдержали бы любые испытания на прочность, они одинаково прямолинейны, Анна так же, как моя мама, признает только хорошо, по правилам сделанные вещи... У мамы было мужество, мечты, о которых она не умела рассказать, и двое неблагодарных детей.

Теперь ее внучка вынимает из коробочки браслет, я говорю: «Чур, не заматывать!» — и она смеется совершенно по-детски. И вот уже соломенно-желтый браслет скользит по руке Анны, она останавливает его на запястье и рассматривает, как украшение выглядит на ее нежной, смуглой, матовой коже. А мне в эту минуту хочется сжать в руке ее запястье — точно там, где браслет, который я носила всю свою жизнь, сжать покрепче — чтобы на этой смуглой коже остался его отпечаток. Потом ей попадают голубые трусики, и она выдыхает: «Ма-а-ам», но и тут ей смешно, пусть даже она стесняется — мне кажется, Анна покраснела... Но вот наступает черед ларчика для драгоценностей, дочка достает его с самого дна, открывает и обнаруживает пару маленьких сережек. Плечи ее слегка вздрагивают, мне становится тревожно. И не зря: Анна плачет. Мелкие слезинки скатываются по ее щекам, и я становлюсь на колени рядом с нею, губами прикасаюсь к этим солоноватым жемчужинкам, и на мгновение наши тела соединяются — так, как было, когда

я носила ее в животе. Я защищаю свою дочь, без нее меня бы не существовало, мне хочется не отпускать ее, вернуть ту маленькую девочку, что склонялась над тетрадками и задавала мне тысячи вопросов в полной уверенности, что мама может ответить на любой. Я бы хотела вернуться во времена, когда ее доверие ко мне было нерушимо, когда она, сгорая от любопытства, смотрела на меня широко раскрытыми глазами, впитывала каждое мое слово и ни секунды не сомневалась, что мама всегда и все говорит правильно.

Держа в объятиях свою дочку, свою взрослую дочь, уже почти замужнюю, я чувствую себя такой старой, такой сморщенной, такой отжившей, такой безнадежно отставшей от моды... Кому я теперь нужна? Что мне теперь делать?

Анна высвобождается, и мы вместе надеваем на подвенечное платье серый чехол. «Надо будет там его погладить», — говорит она. Мы замираем над чехлом, в который упрятано белое платье, и кажется, будто никакой свадьбы нет. Целую неделю я видела это платье висящим на стене, и все вертелось вокруг него, его нельзя было трогать, рядом с ним полагалось молчать, чтобы не нарушить его покоя; реликвия, идол, памятник — вот чем было это платье, но вот взвизгнула, закрываясь, молния — и оно исчезло.

Анна чувствует, как все вдруг изменилось, смотрит на часы и говорит:

— Слушай, мы же опоздаем!

«Мы опоздаем» или «мы опаздываем» — ее любимая фраза, она произносит эти слова при каждом удобном и неудобном случае, стремясь к началу движения, действия. Я отвечаю так, как всегда отвечаю в таких случаях: «Ну что ты, что ты!» — и тут раздается телефонный звонок.

Это Ален. У него совершенно спокойный голос, он спрашивает, как я поживаю, и я уже собираюсь ответить, когда передо мной вырастает Анна и знаками — чрезвычайно выразительно — намекает, что следует передать ей трубку, сию же минуту — да-да, как можно скорее, ну!

Как тут не послушаться, я покорно отвечаю будущему зятю:

— Передаю трубку Анне, пока, Ален...

Анна принимается что-то шептать в микрофон, я слышу, как она смеется, вздыхает, говорит, что церемония пройдет быстро, слышу в ее голосе счастливое ожидание. Заканчивая разговор, она говорит: «И я тоже!» Что — она тоже? Я тоже тебя люблю? Я тоже тебя целую? Я тоже хочу прожить с тобой всю жизнь? Я тоже без тебя скучаю? Я тоже спешу? Я тоже боюсь?

Мои вещи — заранее приготовленные — лежат у меня в комнате, и, пока Анна принимает душ, я вызываю такси. Нужно набирать множество номеров, бесконечные цифры, теперь заявки принимают компьютеры, телефоны трезвонят в пустоте, потом роботы, безрукие роботы, как бы снимают трубку, но требуют-то они, чтобы ты набрал еще какой-то номер, по-настоящему! Набираю и набираю, как полная идиотка! Чуть-чуть ошибешься — и вот ты уже, оказывается, заказал такси совсем не в том направлении, и увезут тебя куда-нибудь в Везуль или в Сен-Пьер-де-Кор!^[15] Изо всех сил сосредоточившись на кнопках, нажав дикое количество раз на всевозможные цифры и символы — звездочки и решетки, — я наконец слышу голос, который с дурацкой интонацией сообщает мне, что такси через полчаса подъедет к дому 46 по улице дез Арше, что это будет голубой «мерседес» и что я могу повесить трубку. А если не повешу? Если останусь на линии и буду набирать еще какие-нибудь цифры, жать на разные кнопки, пока они там все не свихнутся? Чем я, в конце-то концов, рискую? Неожиданно позади меня возникает Анна и знаками показывает, что

ванная свободна, так что трубку все-таки приходится повесить. Тонометр, барометр, хронометр — нет времени играть с роботами.

Голубой «мерседес» прибывает вовремя, и через пять минут мы уже стоим у входа в салон красоты. Жак Дессанж, «сегодня все должно быть роскошно», говорит Анна. Я-то в парикмахерских почти не бываю — у меня длинные волосы, и я привыкла ощущать их плечами, чувствовать их вес затылком. Волосы ласкают меня, когда я одна, они в такт шагам ударяют по спине, если я заплетаю косу, иногда я прячусь за ними — это мой способ сунуть голову в песок.

Салон на набережной Сент-Антуан весь сверкает снаружи и изнутри. На стеклянных этажерках, словно драгоценные украшения, выставлены разноцветные флаконы с шампунями и бальзамами, волшебные снадобья, дарящие вечную молодость, грааль по тридцать евро за штуку. Везде зеркала, никуда от них не деться.

Нас встречают у дверей беловолосые, сильно покрашенные девушки: вот гардероб, кофе, минеральная вода, чего изволите, мадам... «А можно кофе по-ирландски?» Эти слова вырвались у меня сами по себе, вроде икоты, я даже удивилась. Анна вытаращивает на меня глаза — опля! вот и первый промах за день! — и спешит ответить, чуть повысив голос:

— Кофе и чай, пожалуйста!

Светловолосый молодой человек усаживает нас в кресла — точь-в-точь как в зубоучебном кабинете, высокие, черные, способные наклониться на 180 градусов, — и начинает с изучения волос моей дочери. Он говорит: «Я Жереми» — говорит так тихо и так нежно, что у меня рождается ощущение: отныне нам вменено в обязанность называть его только Жереми и никак иначе, мы должны! Вроде как трогая наши волосы и говоря с нами этим своим медовым голосом, он вдруг сделался нам близким человеком, кем-то, без кого нам уже не обойтись.

Моей дочери был заказан «пакет услуг для новобрачной», цену которого оговорили заранее, — фигурный узел, цветы, свободно висящие прядки — этакая роскошная и рассчитанная небрежность. Мне хотелось бы оставить волосы распущенными, но Анна давит на меня, настаивает на том, чтобы мне тоже сделали узел на затылке. Она наставляет блондинчика, она показывает руками, какой хочет видеть свою матушку. Жереми (о! надо же — дело сделано: я называю его по имени!) — итак, Жереми до поры до времени кивает молча, но вот он уже берет в руки мои волосы, взвешивает их на ладони и говорит, что да, да, он совершенно согласен, мадам больше всего подойдет узел на буржуазный лад.

На смену Жереми приходят две новые блондинки: одна — чтобы помыть нам головы, другая — чтобы подстричь. Жереми, наклонившись к нам, шепчет: «Ничего, если я вас покину ненадолго? Справитесь без меня?» Интересно, а что бы он сделал, если бы мы с Анной стали в ответ плакать и умолять его остаться с нами, подержать за руку?

Блондинки щебечут, обсуждая несчастный случай, который произошел сегодня утром: баржа врезалась в какой-то подземный гараж, который тянется вдоль набережной Сент-Антуан, первый уровень совершенно затоплен, машины повреждены, и, конечно же, образовалась настоящая свалка. «Представляете, какая была дыра!» — восклицает одна из блондинок. И я действительно представляю лицо страховщика в момент, когда он читает справку о происшествии: «В машину на подземной стоянке врезалась баржа»... Да уж, что тут скажешь...

Блондинкам очень хочется разговорить и нас тоже, но мы застыли в молчании — этикие снобки, гордые тем, что снобки. Анна отвечает исключительно мычанием.

— Это вы выходите замуж?

— М-м...

— Вы рады, что у вас свадьба?

— М-м...

— Венчаться будете в самом Лионе?

— М-м...

— Это ваша матушка?

— М-м...

— Вы обе такие красивые!

Тут, наконец смилостивившись, она цедит сквозь зубы:

— Псиб...

Блондинки наверняка в душе нас проклинаят, ну что ж, ничего не поделаешь.

Мы выходим из салона — ни дать ни взять две куклы. Анна берет меня под руку и говорит, что мне очень идет такой узел на затылке. У нее в волосах гипсофила — они такие нежные, такие изящные, эти мелкие, будто из кружева вырезанные белые цветочки, так красиво выделяются на ее черных волосах. А я... я хотела бы большой красный цветок гибискуса, его еще зовут китайской розой, но я хотела бы не китайскую розу, а такой гибискус, какой встречается только в наших краях, — весь раскрывшийся, я бы сунула его в волосы где-нибудь за ухом, и у меня был бы донельзя сексуальный вид. Но женщине, которая выдает замуж свою дочь, нельзя засовывать за ухо гибискус — не положено!

Мы возвращаемся домой, собираем вещи и слышим, как внизу бибикает машина. Это уже Эрик приехал — вовремя. Он поднимается, чтобы помочь нам, улыбаясь смотрит на Анну, говорит мне: «Добрый день, мадам, это вы — писательница?» — и Анна отвечает за меня: «Ну да!» Уже на лестнице, бережно неся чехол с подвенечным платьем, Эрик сообщает, что читал одну из моих книг, но точно не помнит названия, помнит только, что там рассказывалось об индейцах. У меня нет ни одной книжки про индейцев, но я вежливо улыбаюсь в ответ.

С течением времени я научилась смиряться. Волей-неволей начинаешь с одинаковой покорностью принимать и то, что многие тебя с кем-то путают, и то, что одни с ходу начинают тебе объяснять, что ты хотела сказать в своих книгах, а другие предпочитают тебе тех, кто не сходит с экрана телевизора и описывает свои появления на экране. Привыкаешь терпеливо выслушивать людей, пересказывающих тебе свою жизнь, держа в это время твою книгу как камамбер, а потом, закончив пересказ, выложив все до конца, бросают этот, уже весь вспотевший, камамбер и даже не достаивают его взглядом. Привыкаешь улыбаться тем, кто смотрит на тебя, сидящую за столом и едва различимую за стопками собственных книг, которые надо продать, как на ярмарочную диковину. Привыкаешь постоянно сдерживаться и думать при этом, что, в общем-то, тебе повезло, раз ты можешь продолжать свою писанину. Да-да, именно так: продолжать свою писанину: находить слова, строить фразы, сочинять истории — и только в это время чувствовать себя совершенно свободной.

Мы садимся в большую машину Эрика, где легко умещаются все наши вещи, а главное — аккуратно повешено подвенечное платье Анны, оно прикрывает окошко у места, соседнего с водительским. Когда мы подъезжаем к вокзалу, я издали вижу Ива. Он ждет нас, покуривая, и, когда садится возле меня на заднем сиденье, я, наверное, чересчур шумно вдыхаю запах его табака. Он улыбается: «Ой, как же тебе надо сигаретку-то!» Я смеюсь, прикрывая рукой рот, Ив кладет ладонь мне на затылок, под узлом, легонько массирует

четырьмя пальцами шею, а большой его палец приходится уже куда-то за ухо. Мне вдруг ужасно хочется его поцеловать. Здесь и теперь, пока с его губ не улетучился аромат табака. Я тянусь к нему, мы стукаемся лбами, он говорит: «Ты сейчас выглядишь настоящей леди!» Я опять смеюсь и думаю, что, будь мы сейчас наедине с Ивом, скорее всего, впились бы губами в его губы и нашла бы его язык своим.

— А мне, Раस्ताпопулос, мне ты ничего не скажешь?

— А-а-а, Кастафиоре! Ты что, на самом деле решила выскочить замуж? Ну и где же твои драгоценности?^[16]

Автомобиль трогается с места, увозя нас троих, хохочущих во все горло, и Эрика, сосредоточенного на своей ответственности в роли шофера невесты. Двигаемся вдоль набережной. Сона далеко внизу, видны поднимающиеся над водой тростники, серые от пыли кустарники на берегах реки, остовы деревьев, унесенных волнами и застрявших у подножия моста, велосипедисты в облегающих трусах, озверело крутящие педали, ребятишки, бегающие и орущие так, словно гоняются за летом, которое слишком долго не приходит. Сейчас, конечно, для лета малость рановато, но скоро ведь наступит май, правда?

Не знаю, люблю ли я Лион, привязана ли к этому городу. У меня есть здесь свои вещи, есть свое место под солнцем, и мне этого хватает. Меня то и дело спрашивают, не грустно ли мне оттого, что приходится жить в стране, настолько далекой от моей родной... Существуют виды ностальгии, в которых я себе отказываю, чтобы не сойти с ума. Ностальгия по морю, когда оно вдруг возникает перед глазами после крутого подъема, и ты в этот момент обретаешь уверенность, что именно здесь край света. Ностальгия по летним цветам, таким нежным и ароматным. Ностальгия по чему-то такому чистому в воздухе, такому безмятежному, такому здоровому. Ностальгия по сладкому соку тростника, — соку, от которого скрипят зубы и становятся липкими пальцы. Ностальгия по низкому черному ночному небу с мириадами звезд, которые кажутся такими близкими, такими близкими, что протяни руку — и дотронешься. Нет, я, конечно, люблю Лион, как любила бы, я в этом уверена, каждый город, где у меня были бы крыша над головой, письменный стол, цветы, которые можно сорвать, и Анна неподалеку. Может быть, я вроде тех деревьев с боковыми «придаточными» корнями, едва касающимися почвы, — деревьев, которые порыв ветра может смести с земли, но после этого они быстро приживаются в любом другом месте. Иногда мне кажется, что моя земля немножечко и здесь. Здесь родилась моя дочка, здесь я пишу свои книги, здесь живут мои друзья. Тем не менее в самой глубине души, если закрыть глаза и постараться быть искренней, совсем честной, я признаю, что единственное время, когда я чувствовала себя на своем месте, у себя, — это с Мэтью. С ним я была самой собой, с ним я была примиренной с самой собой, с ним у меня появлялись та легкость и, рядом с нею, тот страх разочаровать, которые возникают, только когда есть любимые люди и дорогие сердцу края.

Больше книг на сайте - Knigolub.net

Вскоре мы покидаем шоссе и въезжаем в Домб.^[17] И сразу вдыхаем воздух отпуска в деревне — как будто асфальт и придорожные столбы на шоссе до сих пор мешали сознанию почувствовать, что мы путешествуем. Болота осушены, но несколько цапель еще бродят в поисках рыбы, считая, видимо, что вся она попряталась в грязь. Дорога, будто льющаяся по ложбинам и пригоркам, с двух сторон обсажена деревьями — везде деревья, деревья, деревья, словно мы переселились внутрь какого-то романтического road movie.^[18]

Я чувствую себя совершенно умиротворенной. Ив трещит без умолку, он никогда

досюда не доезжал, он непрерывно нас дергает: «Ой, какая ферма, ой, какие лошади, Соня, ты только посмотри на этого типа, скажи, а ты видела ту цветущую вишню позади, Анна, Анна, ты меня слышишь?» Он съехал на самый краешек сиденья, он приклеился к стеклу, он ерзает от нетерпения и говорит, говорит — ни дать ни взять дитя, готовое отплыть в незнакомую чудесную страну. Иву всегда удается меня разволновать и растрогать, ему не изменяет своеобразный вид мужества — мужество очаровываться: сегодня деревней, завтра книгой, послезавтра чьим-то лицом... Ни годам, ни многочисленным испытаниям, выпавшим на его долю, не удалось свести на нет эту черту характера. И я вдруг думаю, а почему мы до сих пор никогда не занимались с ним любовью... Случаев было — не счесть: мы так часто вместе пьянели — хоть от спиртного, хоть от хорошей новости, хоть от того, что выкуривали каждый по три пачки... А еще пьянели от красоты вида где-нибудь за границей (некоторые просто пригвождали нас к месту), от классного розыгрыша, ну и не меньше от горестей — черная полоса порой затягивалась. Как, скажем, в то время, когда его жена Каролина умерла от рака.

Я поехала к нему и прожила в его бретонском доме с ним вместе неделю после похорон. Ив тогда совершенно обезумел от боли, он каждое утро стискивал меня в объятиях, он плакал у меня на груди, он гладил меня по спине и так крепко сжимал мои руки, будто боялся, а вдруг я тоже сейчас исчезну. А я знала, что в эти минуты он думает о жене, об одиночестве, с которым ему предстоит научиться справляться... В этом доме, наполненном присутствием Каролины, его милой, милой женушки, которая варила такие дивные варенья, а Ив сладкоежка, и во время поездок в Африку он неизменно обедался мерзким липким желе отвратительного розового цвета, хотя в это желе не кладут ничего, кроме сахара и красителя. Ему уже не хватало близости с Каролиной, и он страшился, что впереди только и есть, что долгая-долгая пустота.

Да, конечно, это было очень важно для них, я знаю. Ведь всякий раз, как я видела их вдвоем, нежность, близость, сообщничество прорывались в каком-нибудь жесте, и я сразу отводила взгляд, сразу чувствовала свою отдельность, непричастность, будто единогласие их тел отгораживало их от всего остального мира. Она перебирала пальцами его волосы, а он, положив голову ей на плечо, одной рукой придерживал ее локоть, а другой ласково поглаживал ее спину. Эту пару — после двадцати-то лет совместной жизни — все еще тянуло в постель! Иногда они обменивались за столом понимающими улыбками — и Каролина краснела... Кожа у нее была тонкая, напоминала шелковую бумагу, и — как я себе представляю — не только на лице, но и везде такая же: шелковистая, нежная, и вообще она была тоненькая, хрупкая, чувствительная, и думаю, если Ив сжимал ее в объятиях слишком сильно, на коже сохранялись отпечатки его объятий.

Мы с Ивом часто получали приглашения на книжные фестивали, где вечера проводили наедине друг с другом. И всегда между нами оставалась явственная линия любовной дружбы, которую никто из нас не хотел переступить. Каждый раз, как эта линия делалась зыбкой, тот, кто в эту минуту был сильнее, на шаг отступал, и на завтра мы оба были страшно довольны отсутствием перемен. Уже шесть лет, как Каролины не стало, но Ив до сих пор носит с собой в бумажнике ее снимок. В издательстве, на письменном столе, — фотография: они в горах, она впереди, он смотрит ей в спину, не в камеру. Его изображение неясное, ее — совершенно четкое, на нее падает свет, она словно сама вся светится. У них всегда было так: жена на свету, муж — как будто чуть в стороне, чуть позади, и не просто из галантности, но из-за того, что его тело и его сердце таяли от любви, и он становился

слишком уязвимым рядом с ней. Когда они были вместе, его силой была она. Так я думаю. С тех пор как ее нет, он больше не ест пересахаренных африканских сладостей, чересчур сильно они напоминают о потере, о том, чего он лишился.

Ив и Анна задремали. Я снимаю туфли, подбираю под себя ноги. В этой машине я чувствую себя защищенной. И — сама не знаю почему — вспоминаю фотографию моей ноги, сделанную, когда мне только-только сравнялось тридцать. Дело было в Сете, ^[19] городе, который я недолюбливаю, мне не нравятся отдыхающие, которые жарятся под солнцем так, будто оно вот-вот исчезнет навсегда, мне не нравятся гостиницы с почерневшими стенами, и густо поросшие шерстью мужчины с тяжелыми перстнями на пальцах и цепками на запястьях, и морщинистые дамочки с волосами морковного цвета. Но в Сете устроили книжный фестиваль, и я приехала туда читать последнюю главу «Постороннего» Камю. ^[20] Другие читали модных авторов — много секса, шуток, театральности в голосе и жестах...

Я поднялась на сцену — в красной юбке с белой блузочкой чувствуя себя одновременно желанной и недоступной. Я прочла эту последнюю главу «Постороннего» стоя, бестрепетно, я ощущала, как зал замирает, как концентрируется на мне его внимание, люди затаили дыхание, и вот уже нет ничего, кроме моего голоса, моей красной юбки, легко касающейся щиколоток; есть только я и ветер, ветер, ветер, уносящий слова Камю... «...Чувствую готовность все пережить заново. Как будто недавнее мое бурное негодование очистило меня от всякой злобы, изгнало надежду и, взирая на это ночное небо, усеянное знаками и звездами, я в первый раз открыл свою душу ласковому равнодушию мира... Для того чтобы я почувствовал себя менее одиноким, мне остается пожелать только одного: пусть в день моей казни соберется много зрителей и пусть они встретят меня криками ненависти». ^[21]

Когда все закончилось, я спустилась со сцены, опустошенная так, как не было еще никогда. Я вся дрожала, у меня были слезы на глазах, и какой-то парень подошел ко мне с большой бутылкой воды — держи, мол, успокойся.

Я устроилась под акацией, сбросила туфли, мне ужасно хотелось лечь на спину и раскинуть руки крестом... Чуть подальше стоял мужчина с фотоаппаратом, он смотрел на меня с легкой тревогой, — наверное, ему показалось, что я слишком бледная. Я закрыла глаза, чтобы вокруг меня не было никого, кроме ветра. Мне было тридцать лет, Анне десять, она осталась в Лионе у одной из моих подруг, и я чувствовала, что нет у меня не только сил, но и надежд. Когда я открыла глаза, фотограф стоял передо мной — он протягивал снимок. У него, оказывается, был «поляроид», а я даже не слышала щелчка затвора. Он сказал: «Надеюсь, я вам не помешал». Он сделал фотографию моей ноги.

Прошло больше тринадцати лет, я еду в машине, которая везет нас к замку, вокруг пейзаж небывалого спокойствия, я вытаскиваю записную книжку — там между обложкой и последней страничкой фотография. Старая, покоробившаяся, но нога — та же самая.

Левая. С напряженным подъемом и вяло лежащими пальцами. Под кожей бугрятся вены, жара, одна нога давит на другую, скоро пойдут мурашки. Ногти покрашены чуть выцветшим лиловым лаком. Недавно проявленное кокетство: лак покрывает весь ноготь, пока еще нет белой полосочки, которая мало-помалу увеличивается по мере того, как ноготь растет.

На лодыжке — татуировка. По тому, как она обрисовывает косточку и впадинки, видно, что настоящая — не из тех переводных картинок, которые приклеиваются водой, а потом, высохнув, по кусочкам осыпаются. Хороша ли, плоха ли татуировка, нет вопроса. Но вообще-

то ее наличие на этой журавлиной ноге, с выпирающими, обтянутыми кожей костями, с этим выцветшим лиловым лаком... вообще-то ее наличие вызывает какое-то смутное беспокойство. На втором плане, за ногой, на фотографии высохшая трава, жара, виден носок сброшенной наспех черной туфли, она лежит подошвой к объективу, показывая приклеенную к подошве этикетку. Впрочем, все это не имеет никакого значения. Что меня потрясло в тот день, и что я вижу и сегодня: это нога взрослой женщины, и даже не молоденькой женщины, а совершенно взрослой. Взрослой — и точка. Это я увидела сразу, и мне было страшно трудно в это поверить, когда я взяла в руки фотографию. Неужели эта нога — моя...

Я и представить себе не могла, что у меня такие большие, такие сухие, такие узловатые ступни. Эти ноги находились, набегались — по твердости подошвы видно, будь на них побольше мяса, все было бы в порядке, могли бы, что называется, ввести кого-нибудь в заблуждение. Ан нет — эта левая нога была ногой женщины, и годы сделали свое дело. Это была нога женщины решительной, женщины, у которой есть муж, дети, дом, свекор со свекровью, друзья... и немножко шопинга в свободное время... Но у меня-то к тридцати годам ничего такого не было!.. Я еще не перестала быть по духу подростком, во мне все еще жила уверенность в том, что все удастся, меня все еще одолевали несвойственные взрослым порывы нежности к некоторым людям, я не умела выстраивать никаких стратегий, а если врал, то всегда по-идиотски или чересчур изобретательно. Я мечтала о месте, где не бывает больно, лелеяла безумные идеи, верила, что можно все начать сначала. С нуля. С чистой страницы.

И даже сегодня, в сорок два, я иногда целыми часами строю планы и выбираю страну, где можно начать новую жизнь. Потерянные часы, потому что не могу же я на самом деле все бросить вот так, вдруг, и уехать. Может быть, если бы я это сделала, меня бы здесь быстро забыли, меня поместили бы в разряд тех, кто необъяснимо исчез, я стала бы тенью, призраком, вроде бы умершей, но не захороненной, мои фотографии переместили бы в ящик со старыми вещами, а потом уже никто и не спрашивал бы, куда я делась, я была бы далеко, в другой стране, с другим именем и другим паспортом, я жила бы другую жизнь и больше не оборачивалась, когда кто-то окликнет: «Соня!» Но я не могу уехать, я просто теряю время, я тешусь иллюзиями, мои радости обманчивы, а в реальной жизни у меня дочь, и она меня ждет, моя дочь — частица меня самой и человека, которого я любила как могла, я любила его нежно, спокойно, этого человека, который слушал музыку моей речи и которому я позволила уехать, потому что так всегда делают, когда любят. Позволяют уехать, ждут, ничего не ждут, получают, возвращают...

Мне тогда было тридцать, и я часто думала о смерти — тоже как подросток. Но я не была так уж страшно несчастна, вовсе нет. Просто меня соблазняла идея умереть молодой. Сказать — хватит, признаться, что будущее слишком страшит, что я не знаю, как это — весело скакать каждый день, не научилась. Уже не помню, кто сказал, что мы рождаемся с напрасной верой в свое предназначение быть счастливыми на этой земле.

Знаете, какая мысль мне нравилась? Пусть другие воображают, какой могла бы быть моя жизнь, пусть они придумывают мою жизнь счастливой. Если кончает с собой молодой человек, никто не скажет, что поступок правильный и что, скорее всего, будущее его ожидало дерьмовое. Нет, все скажут: ах, что же он натворил! Прикончить юность, чтобы вернее удержать ее, вот о чем я думала. Но такой ноге такие мысли не соответствуют.

Когда я в машине, убаюкивающей нас мельканием пейзажей и рокотом мотора, смотрю

на этот снимок, ко мне возвращаются те чувства моих тридцати лет, которые я испытала, первый раз его увидев. Я говорю себе, что у меня не было ни грамма удачи, этой таинственной штуки, благодаря которой все выстраивается как надо, как надо развивается, как надо двигается. Этой крохотной детальки, этого знака неба, знака времени, откуда мне знать, знака — чего... того, что помогает майонезу загустеть, и — если нарочно не портить дела — не превратиться в никуда не годную жижу... А у меня вечно найдется песчинка, которая приведет все в негодность, такая уж у меня карма. Мне было тридцать лет, я уже написала три романа, которые продавались средне, можно сказать — неплохо, и я работала в женском журнале, и только что перебралась в Лион, и одна воспитывала дочь, и вела простую, достойную жизнь, да, достойную, я могла бы быть ею довольна, и тем не менее — вот такие мысли меня одолевали... Но в конце концов, разве я стала другой — теперь, спустя тринадцать лет?

Я ношу одежду самого маленького размера, если платье с декольте, я тащу его наверх, если юбка короткая, постоянно одергиваю, чтобы прикрывала колени. Взрослая женщина так себя не ведет. Я не умею говорить «нет», я не люблю, когда люди со мной ссорятся, я не иду ни на споры, ни на конфликты. Я мечтаю о днях рождения с сюрпризами и с огромным тортом, полным крема, с гостями, внезапно выскакивающими из-за шкафов и спинок кресел, крича «СЮРПРИЗ!!!», о волшебном вечере, после которого не сразу придешь в себя... У взрослой, зрелой женщины не бывает таких мечтаний.

Глядя сегодня на этот снимок, я говорю себе, что слишком мало думаю, например, о сексе. Потрахаться, уступить низу — просто ради процесса, если для здоровья, то почему бы и нет, так ведь рассуждают? Я — никогда. А ведь в этом тоже взросление. В том, чтобы делать запретные вещи, потому что отныне ты свободен, ты в том возрасте, когда человек сам распоряжается своим телом. Нет, нет, нет, нет, это не про меня. Я, наоборот, все время запираю свое тело, строю для него дом, возвожу ограду, укладываю его под теплую перину зимними ночами, надеваю на него легкую шелковую ночнушку летом, да, иногда возникает мужчина, разумеется, он служит мне верой и правдой, но в конце концов я его покидаю, потому что не умею ввести его в свой мир, в мир с моими книгами, которые мною владеют, и моей дочерью, которую я приручаю. Никогда я не предлагала этому телу любовника на ночь, чтобы его взяли приступом, немножко по-дикарски, со стонами. Зато я не жалею для него ни своих мыслей, ни своих причуд, ни своих нелепых вопросов.

Помнится, однажды, глядя на эту ногу, я почувствовала внезапное желание измениться. Стать такой женщиной, как матери подружек Анны. Печь дочке пироги, шить ей платья, вязать ей шарфы, пришивать к изнанке выреза на спинке свитеров метки с ее именем, иногда ее ругать и никогда не заставлять ее терпеть мои многочасовые одинокие вахты над тетрадкой. Помнится, как я говорила себе, что надо приноровиться к своему телу, к годам, которые все накапливаются, к беспрестанному тиканью часов и сотворить себе в конце концов имидж, на который другие могут смотреть с удовольствием.

Ну вот... я смотрю на этот снимок своей левой ноги и рассматриваю татуировку на своей левой ноге. Я сделала эту татуировку в шестнадцать лет, тайком от родителей, и мне кажется, эта нога ошиблась принадлежностью — не от той она головы. С такой ногой полагалось бы многое знать, с такой ногой следовало бы брать на себя обязательства посерьезнее, такие, исполнение которых благотворно, с такой ногой полагалось бы иметь голову с красивой укладкой, на лице — скрывающий морщины тональный крем, и губную помаду, способную пробудить желание в каждом встречном, и тени на веках, и подведенные

глаза... А у меня ничего этого нет, и мне становится грустно, и я внезапно чувствую себя ничемушной, потерянной и последней, кто это понял.

Мы едем в машине на свадьбу моей дочери, и мне вдруг словно камень сваливается на голову, и я, наверное, вздыхаю, потому что Ив берет мою руку и сильно сжимает ее в своей. Вот что мне надо было бы посоветовать дочери: завести любовника, двух, трех, наслаждаться вовсю, попасться на удочку страстной любви, командовать, управлять, высказывать свои желания, делать такое, чего она могла бы чуть-чуть стыдиться, отпустить себя на волю... Вести себя не так, как другие, решиться надеть красное подвенечное платье, целовать своего любимого посреди улицы, целовать врасос, с участием языка, и пусть другие смотрят и подышают от зависти... Надо было ей объяснить, что до свадьбы следует познать другие тела, другие чувства, немножко пострадать, полюбить невозможно сильно, погубить себя, стать самой малостью циничной, смеяться над словами, от которых отдает романтикой, волноваться, отдавать, не беречь себя, потому что вот проснется она, как я, в сорок два года, — а они как и не прожиты. Вот что мне надо было ей сказать. Я должна была посоветовать ей сделать все, чего не сделала я. После Мэтью у меня было несколько мужчин, сильно сказано — несколько, всего ничего, и они всегда принимали меня за другую, потому что я пишу книги, потому что иногда мне случается пересказывать любовь словами. Эти мужчины думали, будто у меня есть уверенность светской женщины, будто я знаю дорогу к ним. Нет, ничего такого у меня не было и ничего такого я не знала, я была просто женщиной, как все, женщиной, которая надеется, что в один прекрасный день вдруг возьмут да и обрушатся на нее союз двоих, наслаждение на двоих, несомненное благородство, явная щедрость, внезапный шепоток на ухо, а еще... а еще... что, спокойно захлопнув дверь перед миром, он и она будут всласть любить друг друга.

Наконец машина останавливается у ресторана «Ферма Гишара» в Бюже, а у меня уже голова трещит от всех этих обступивших меня воспоминаний, от этой полученной мной оплеухи, я дрожу от охватившей меня неудовлетворенности: что я сделала с этой жизнью, с этими годами, с возможностями, которые мне открывались, со всеми встречами, которые сулили дружбу, любовь? Ах, если бы оказаться подальше отсюда! Ив чувствует мое настроение, Анна тоже. Они берутся за меня с двух сторон: Анна поддерживает под локоть, Ив забирает в свою огромную лапищу мое тощее запястье. Две силы — одна повелевает, другая сопровождает. Мне сорок два, но я знаю, что в эту минуту выгляжу на двадцать лет старше: сгорбленная спина, нетвердая походка и печаль в глазах. Анна беспокоится, спрашивает, как я себя чувствую, но я-то, я слышу в ее голосе опасение: сейчас мать испортит праздник, заболеет еще — и тогда все пропало!.. Смотрю ей в глаза: там слезы — вот-вот прольются. Достаточно это увидеть — секунда, — и во мне что-то щелкает, я легко выпрямляюсь, улыбаюсь дочери и говорю, что просто-напросто устала, но зато аппетит у меня волчий. Губы Анны начинают дрожать, она наскоро прижимает меня к себе и восклицает так, словно обращается к большому собранию: «Ну, пойдете же к столу!» Беру себя в руки. Бог его знает, откуда находят силы, откуда вдруг это мужество улыбаться: ну, Соня, давай, еще чуть-чуть напрягись, у тебя хватит времени подумать об упущенной жизни, у тебя будет полно времени на это, старушка!

Ресторан не только по названию, но и на самом деле — маленькая ферма, превращенная в трактир. Тут все просто, столы темного дерева даже не покрыты скатертью, они подернуты патиной, на них круги от стаканов, цветы в пластиковых вазочках, на стенах — награды за лучшую бресскую пулярку.^[22] В меню, естественно, эти самые пулярки со сморчками в сметанном соусе, лягушки, рыба и фрикадельки. Я выбираю фрикадельки под соусом «нантюа»,^[23] Ив повторяет мой заказ, Анна — заявив, что не слишком голодна, — отдает предпочтение поджаренным на сковороде лягушачьим лапкам. Эрика с нами нет, исчез. Я не решаюсь спросить, куда он делся, но уверена, что его исчезновение — один из пунктов программы дня. «В 12.30 — ресторан „Ферма“ в Артемаре, исчезновение Эрика».

Ив с Анной тихонько подначивают друг друга, мне от этого тепло и уютно, их голоса окутывают меня коконом, в нем можно свернуться в клубочек и успокоиться. Мне так страшно увидеть свою двадцатитрехлетнюю дочь замужней женщиной, мне страшно, мне страшно. Мне хочется сказать ей: останови-ка это все, не так уж это все серьезно — ну, цветы, ну, замок, подумаешь! А мы купим тебе платье гораздо красивее лет через десять, и лучше выходить замуж, когда от глаз уже побежали морщинки, и бог с ними, с этими wedding planners, Ален переживет, гости тоже, если хочешь, мы уедем из Лиона, я буду с тобой, отправляйся путешествовать — хотя бы ненадолго, радуйся, делай глупости, терпи неудачи, только не выходи замуж. Почему я ей не сказала этого раньше? Почему я не вела себя тверже, почему не бушевала, не грозила? Как получилось, что моя дочь настолько на меня не похожа, что ее желания настолько далеки от моих?

Я едва притрагиваюсь к фрикаделькам. Ив гладит меня по спине, мы перекидываемся репликами о моей рукописи — он как раз сейчас ее читает, и это первая книга, в которой я упоминаю остров Маврикий, где родилась. Ив говорит, что эта книга написана по-другому, не так, как всегда. Пытается сказать, что я в этой книге более жестока, более язвительна, но

мы с Анной тут же кладем вилки, чтобы послушать, и он умолкает, глядя в пустоту. По моему, он прав, я помню, как у меня потели руки и как напрягалась шея, когда я писала, — словно сдерживала гнев, неизвестно чем вызванный. Анна говорит: ты никогда не упоминаешь «то место». Она произносит «то место» так, словно речь идет то ли о месте проклятом, то ли о рае... О месте запретном.

А ведь правда. Я никогда не говорю о Маврикии. И ни разу там не побывала за все двадцать пять лет, промелькнувшие с того прохладного и темного октябрьского вечера, когда половина моего семейства провожала меня в аэропорт. Меня тогда просто сжигало нетерпение, мне хотелось скорее подняться по трапу в самолет, подняться и лететь, лететь... в буквальном смысле — лететь, именно такой образ меня преследовал: я расправляю крылья и лечу по ветру между облаками. Душу мою переполняло несказанное возбуждение, с губ не сходила улыбка, и родители даже обиделись: что же, мне совсем не грустно от расставания с ними, не грустно улететь так далеко от родной земли, от своих? Неужели мне ничуть не страшно? Конечно, я побаивалась, но боязнь эта только придавала мужества, усиливала нетерпение, страх был, скорее, тот, что подталкивает идти дальше, дальше, вытаскивает наружу то, что сидит у нас глубоко в потрохах, на самом дне души. Но покинуть своих родителей, свою страну, свою прекрасную страну, — ведь о том, как она прекрасна, без конца пишут в журналах, говорят в телерепортажах, твердят, блаженно улыбаясь, туристы, выпадающие в детство при виде такой красоты, а потом смотрят на вас и снова, снова хотят и от вас услышать то же — так, словно вам положено представлять вашу страну повсюду, быть ее достойным посланником, получающим за это плату от туристического агентства. Они хотят услышать: да, да, там потрясающе, и я так страдаю здесь, да, да, нет чудеснее страны, чем остров Маврикий! Но главный для них следующий, неизбежный, вопрос: «Но что вы-то делаете здесь, вдалеке от моря и солнца?» Они ждут на него достойного ответа, а походи найди его, достойный ответ...

Уйти, улететь, оставить все это казалось мне нормальным, мне казалось очевидным, что надо так поступить, складывая жизнь, свою жизнь. В тот день я подпрыгивала от нетерпения. Мне было всего семнадцать, и я подпрыгивала, так мне не терпелось оказаться в чужой стране, сесть в поезд метро, почувствовать, как щиплет нос при морозце, озябнуть, окоченеть всем телом, продрогнуть до мозга костей, ах, как же мне нравилось это выражение — «продрогнуть до мозга костей»! Мне хотелось трогать снег, пробовать его на вкус, носить перчатки, пить горячий шоколад, смотреть, как желтеют листья, летними ночами слушать музыкантов в скверах, есть мясо под соусом, пирожные с малиной и земляникой, целоваться с иностранцем прямо посреди улицы, читать наглые газетные статьи, покупать старые книги на набережной Сены... мне хотелось всего, о чем я читала в книгах и слышала в песнях... Иначе как бы я узнала, что листья осенью становятся желтыми и шуршат под ногами, — я, всю жизнь до сего дня прожившая в стране, где листья зеленеют круглый год, а на землю ложатся только совсем старыми и больными или сорванными дурным циклоном? С чего бы мне захотелось выпить горячего шоколада, если в моей стране никогда не холодает настолько, чтобы захотелось такое пить? Откуда бы взялась моя любовь к выражению «продрогнуть до мозга костей», — у меня, чьи предки были безграмотными земледельцами, сожженными солнцем, изнуренными тяжким трудом? Я была битком набита штампами, и господи боже ты мой, до чего же это было хорошо. В общем-то, я так ведь и не смогла совсем избавиться от этих лубочных картинок. Анна, вся насквозь француженка, воплощение иронии, всегда смеется надо мной, когда видит растроганной до

слез и когда я осенью ворошу ногами листья у подножий деревьев и злюсь, что они влажные и совсем не шуршат. Но все равно я до сих пор вытираю глаза, увидев вечером Эйфелеву башню, а на набережной Сены и сейчас замираю у прилавков букинистов, невозможно счастливая от того, что они до сих пор на своем месте, мои утешители во всех разочарованиях, какие меня постигают.

Анна в семнадцать лет была умненькой, выдержанной, умеющей себя вести девочкой, она носила ладно скроенные брюки и туфли с круглыми носами. Единственная прихоть, которую она себе позволяла, это разноцветные шарфы и палантины, — и я привозила ей эти шарфы и палантины из всех поездок. Я в семнадцать была застенчивой и робкой, но сгорала от желания увидеть все. Больше всего меня печалила карта мира, на которой я отмечала страны, где мне никогда не побывать: ну как я попаду на Камчатку, или на остров Клиппертон,^[24] или в Анадырь? Не очень помню, какие вещи носила, но что у меня не было туфель с круглыми носами — это точно! В семнадцать я с легкостью уехала от родителей, и мне кажется, что Анна в свои семнадцать тоже была вполне готова жить отдельно от меня. Когда я внезапно осознаю, что мы обе, она и я, запросто могли жить вдаль от родителей, у меня аж дыхание перехватывает. Вот что получается, если все время сравниваешь, взвешиваешь: Анна в семнадцать — я в семнадцать, я в десять — Анна в десять... Вот что получается, когда ищешь, что нас объединяет, чем можно было бы гордиться, говорить, например, что мы с Анной совершенно одинаково готовим рис по-индийски, что, когда мы спим, и у нее и у меня кулаки слегка сжаты, будто мы боимся выпустить секрет, что мы обе широким и уверенным жестом закидываем на плечо край палантина — об этом бы вспомнить, так нет!.. вместо этих мелких деталей, объединяющих мать с дочерью, дочь с матерью, вместо этих крохотных счастьяц я вспоминаю: мы обе безразличны к своим родителям!

О да, я к своим была безразлична. Настолько, что ни разу с тех пор, как уехала, не побывала на Маврикии. Мне часто хотелось туда, я бывала совсем близко — например, на Реюньоне, и по вечерам я себе говорила, что моя страна вот тут, совсем рядышком, и что если встать на цыпочки черной-пречерной ночью (на островах ночи именно такие) и посмотреть в сторону юго-запада, то, наверное, можно увидеть огни — скажем, на горе Морн. Когда мои родители умерли, я и пальцем не пошевелила, чтобы туда поехать, мне показалось это неприличным, и я не хотела оказаться лицом к лицу с семьей, я — мать-одиночка, я спряталась, бежала от них, я осталась взаперти на новой своей родине, в богатой стране, в развитой стране, в стране, где я могу родить ребенка для себя и ходить с высоко поднятой головой. Я вдруг начинаю на себя злиться, ух, как же я на себя зла! Но я отлично понимаю, что это отнюдь не прилив дочерней любви, не раскаяние, которое пришло годы спустя, а просто страх: вдруг Анна поступит со мной так же, словно в ответ на то, что я сделала сама. Зеркало, которое показало бы мне мою собственную низость, способ вынудить меня к расплате, заставить меня почувствовать то, что чувствовали мои родители. Мне жарко, я обливаюсь потом, мне кажется, что если Анна не придет на мои похороны, это опять будет по моей вине, я более чем заслужу это.

Я так люблю свою дочку, что не хотела бы ее отпускать, мне хотелось бы, чтобы она была тут, рядом, мне хотелось бы, чтобы она плакала, когда я умру, чтобы она говорила обо мне со слезами на глазах даже годы спустя, чтобы она грустила обо мне и открывала мои книги с тяжелым вздохом. Я воплощение эгоизма, и мне на это наплевать. Я, черт побери, мать ей или кто? Она обязана обо мне сожалеть. А как иначе? Она почувствовала бы

облегчение, ей было бы все равно, как было мне? Неужели я и впрямь все упустила?

— Расскажешь, как там, да, мама?

Это Анна своим ясным, хорошо поставленным голосом мешает мне и дальше погружаться в мрачные мысли. Я принимаюсь играть с едой, как невоспитанное дитя. Давлю фрикадельки, делаю из них пюре, смешиваю его с соусом, все это превращается в кашницу, которую уж совсем не хочется брать в рот. Говорю, что нечего особенно рассказывать, мои родители умерли, брат живет где-то в Калифорнии, я даже лица его не помню. Собираюсь уже замолчать, но тут вспоминаю цветы. И говорю Анне, что цветы моей страны — самые прекрасные на земле. Что их никто не выращивает, они растут сами где им нравится. Они пахнут, как солнце, как рассвет, как ночь, — где еще найдешь аромат, подобный этому? Они четко выделяются на фоне синего неба, они бывают огромные, как у гибискуса, хрупкие, как у плюмерии, пугающие, как у огненного дерева, изменчивые, как у гуаявы ранним утром, связанные навеки, как у шафрана... И добавляю, что сады Версаля рядом с этим — полнейшее убожество, и Анна с Ивом хохочут.

Я смотрю на них и думаю, что вот сейчас-то они меня любят, мне хочется их обнять, сразу обоих, прижать к себе — так, чтобы немножко задохнулись.

В этот момент возвращается Эрик (может, так в программе написано: «13.30 — возвращается Эрик»?) и садится с нами пить кофе. Говорит Анне, что остальные уже приехали в замок. Мы начинаем спешить, я немножко цапаюсь с Ивом на тему, кому платить за обед, я вырываю у него счет и уверенно заявляю: «Послушай, это у моей дочери сегодня свадьба!» Он мне отвечает тем же тоном, забирая счет себе: «Интересное дело, как будто она не моя тоже!» — и время останавливается. Мне бы хотелось, чтобы день на этом и закончился, именно в ту секунду, когда мы, Ив и я, по волшебству стали родителями Анны. Я бы хотела поставить точку в этой истории, перевернуть страницу, тут и подвести черту — а что к этому добавишь? Великолепный финал, хеппи-энд с маленькой виньеткой в романтическом стиле, гирлянда, букетик — из тех рисунков, какие бывают в конце мультфильмов или фильмов о любви. И тогда моя жизнь стала бы похожа на прекрасно упакованный подарок.

Но у нас тут не кино и тем более не роман, я не управляю событиями, я ничего не решаю, я подчиняюсь. Кто ставит финальную точку на этом свете, кто решает за нас, бумажных куколок? Ив в конце концов берет верх. Анна — чуть позади нас — молчит, она все слышала, у нее чуть-чуть печальная улыбка, и, когда наши взгляды встречаются, я понимаю, что мы обе думаем о Мэтью. Моя дочка наверняка рисует себе образ отца-забияки, бродяги, она не раз так его называла, слегка растрепанного, невероятно красивого, в жилетке с сотней карманов, из которых можно вытащить сокровища. А я бережно храню в памяти образ юноши со спиной в звездах, который слушал мой голос и мои книги, не понимая ни слова по-французски.

Мы снова садимся в машину и едем мимо строя мрачных каменных домов с разбитыми стеклами и табличками «продается». Она такая грустная, эта долина Эны. Раньше здесь была живая, активная деревня, тут делали много шелка. Большие, почерневшие от времени дома с маленькими оконцами под самой крышей словно бы давят на землю: это червоводни, питомники, где крестьяне разводили шелковичных червей, выкармливая их листьями тутовых деревьев. Должно быть, это была веселая долина, когда юные девушки с белыми ручками фей, в низко вырезанных блузках и юбках-годэ, разматывали коконы и вытягивали тонкую блестящую нить. Должно быть, у выхода из червоводен их ждали парни. Я

представляю себе шелковицы с узловатыми стволами и бледно-зелеными листьями, высаженные плантациями по всей долине и придающие ей неповторимый рельеф, я представляю этих девушек, и парней, и нить, которую они вытягивали, и прекрасные ткани, предвестником которых она была, и вечер после длинного, заполненного работой дня, и рассвет, обещающий хороший день, я представляю это все, я представляю, что в те времена долина казалась молодой и вечной.

После низины мы выезжаем на ровное место — ровное и великолепное. Сегодня 21 апреля, и склоны гор вдаль уже совсем зеленые от густой листвы, а поля расчерчены блестящими прямоугольниками рапса, и они похожи на желтые полосы на детском рисунке. Нас в машине четверо, и, когда мы выезжаем на широкую, обсаженную с двух сторон гигантскими платанами дорогу, я открываю окно. Сегодня так редко встретишь платаны по обочинам дороги, люди объединяются в какие-то ассоциации и в конце концов убеждают всех в том, что платаны по обочинам дорог — это опасно. Может, и так, но если их не станет, чем мы будем любоваться, проезжая по сельским дорогам? Мне кажется, мы одни на всем белом свете, мне бы хотелось включить Отиса Реддинга и чтобы мы все вместе пели «Sitting on the Dock on the Bay», облокотившись на окна и дымя сигаретами. Мне хочется моря, мне хочется нежности, — в общем, это прекрасный день для свадьбы.

Я смотрю на кроны деревьев, листья у них мясистые, и, если прищуриться, сквозь ресницы увидишь, как будто стая птиц летит вместе с нами. Мы сворачиваем налево, и нам является замок на горе, словно бы венчающий долину. Широкие, совершенно расштатавшиеся ворота открыты, и вот уже машина подскакивает на земляной дорожке, усыпанной камешками, скорлупками, пустыми оболочками каштанов. Я наклоняюсь к Иву и только что шею не сворачиваю в попытке разглядеть замок за огромным количеством деревьев, высаженных вверх по горе, но ничего не получается.

Анна сидит прямо, плотно, я кладу руку ей на плечо. Мне кажется, она дрожит. Тем не менее, стоило машине остановиться, она первой выходит... даже выскакивает из машины. Идет вперед, останавливается — руки на бедрах, осматривает замок от подвалов до крыши, оглядывается на меня, улыбается Иву и бросает: «Пойду поищу Алена». Это место называется «Холодный замок». Ив стоит спиной к зданию, смотрит куда-то сквозь сосны бора, закрывающего от нас долину, темные дома, ярко-желтые поля рапса, город, который можно угадать чуть дальше по лиловому туману на горизонте. Подхожу к Иву, обнимаю его за талию, его правая рука ложится на мое плечо, длинные пальцы легко касаются верха груди. Если он прижмет меня к себе сильнее, моя правая грудь может спрятаться целиком в его огромной ладони. Анна зовет нас. Говорит, что Алэн уже готов, что два часа дня, что до гражданской церемонии осталось совсем мало времени. Торопит нас идти одеваться. Анна выбрала Иву в свидетели, это забавно, ведь могла бы выбрать кого-нибудь из подруг, так нет, Ив для нее все сразу: свидетель, отец, может быть, даже мать.

В замке какая-то пухленькая дамочка показывает мне комнату, она ведет меня вверх по лестнице, а я думаю, парик на ней или она просто истратила на укладку слишком много лака. У дамочки мелкие скользящие шажки, как будто на ногах суконки и она за долгую жизнь привыкла натирать по пути паркет. Она внезапно кого-то мне напоминает, только никак не припомню, кого именно.

Моя комната в одной из башен замка, я знаю, что это Анна позаботилась, как мило с ее стороны. Дамочка оставляет мне ключ на комодке темного дерева у двери, над комодом — старое зеркало, отражающее свет. Смотрю в большое окно напротив кровати. Отсюда виден

еще один лес — тот, что позади замка, левая часть долины, почерневшие фабричные строения, цепочка гор, тесные поля с детски-желтыми полосками рапса, все это подчеркивающими.

Закуриваю первую с утра сигарету. Отношусь к ней чрезвычайно внимательно, сильно затягиваюсь, стараюсь продлить удовольствие — да-да, абсолютно никакого чувства вины, только удовольствие. Ванная огромна, в ней белоснежная ванна и глубокий фарфоровый умывальник. Надеваю пластиковую шапочку, чтобы не намokли волосы, и принимаю душ. Смеюсь, представляя себе, как вышла бы на люди в этом чепчике с розовыми цветочками, усыпавшими голову. Чищу зубы и брызгаю духами за уши и на запястья изнутри. Надеваю темно-синее платье — простое, длинное, без рукавов, с глубоким треугольным вырезом на спине, обрамленным по краю мелкой, тонкой вышивкой. Стараюсь не повредить тяжелый узел волос, который давит мне на затылок и чуть-чуть щекочет кожу. Рука без браслета кажется осиротевшей. На плечи накидываю шелковый шарф, привезенный Ивом из Непала. Тысячи переплетенных в нем золотых, бордовых, красных, алых нитей согревают, бросают теплые отблески на мое бледное лицо. Массирую ноги с кремом, чтобы влезть в узкие туфли, подвожу глаза — единственная косметика, без которой никогда не позволю себе выйти из дому, трогаю губы блеском. Полчаса — и я готова.

Некоторое время бесцельно слоняюсь по комнате. Она слишком для меня велика, и вечером мне здесь будет одиноко, но я надеюсь выпить достаточно для того, чтобы этого не почувствовать. Сажусь на край кровати, и тут на меня накатывает легкое головокружение другой моей жизни — жизни в той книге, которую сейчас пишу.

Сначала это походит на элементарное недомогание, мне кажется, все вокруг заволакивается туманом, я теряюсь, не ощущая почвы под ногами. Потом вижу Робена, маленького мальчика, оставшегося без родителей. Я вижу малыша отчетливо, мне это необходимо, когда пишу. Я знаю, к примеру, что на Робене светло-коричневая пижама с более темными каемками на рукавах. Так он был одет, когда полицейские пришли сообщить ему о несчастном случае с родителями. Он хрупкий, почти тощий, у него густые прямые волосы, остриженные так, что голова стала похожа на шарик, ему не нравится такая стрижка, но его мама заставила парикмахера сделать именно такую. Перед тем как заснуть, ему нужно пожевать кончик одеяла. У него красивые брови, они почти сходятся на переносице, и девочки потом будут от них в восторге. Когда он смеется, глаза у него сощуриваются так, что превращаются в черточки. Я ничего тут не придумала, утащила одно оттуда, другое отсюда, потом перемешала — и вот, пожалуйста. Каждый раз мне кажется, что эти взятки нектара никак не сольются воедино, не станут медом, что все поймут: я просто обманщица, я ворую чужие жизни, как сорока, хватаю, где могу, слова.

Сажусь на кровати — и почти что отсутствую здесь. Говорю «почти», потому что сегодня нечто здешнее меня удерживает. Я слышу щебет птиц в лесу позади замка, смутно ощущаю, как узел оттягивает голову назад. Встаю, чтобы окончательно не оцепенеть, и решаю пойти к Анне. Тщательно запираю дверь и иду вдоль коридора. Ловлю себя на том, что шаги у меня сейчас — как у пухленькой дамы: мелкие, скользящие и бесшумные. И вдруг соображаю, кого она мне напомнила. Мадам Сантулло! Даже замираю на месте, настолько удивительно это воспоминание спустя столько лет, настолько удивительно, что оно настигло меня именно сегодня.

В Париже мы поселились в одном из тех старых домов, где внизу была квартирka консьержа. Его звали Эмилио Сантулло, он приехал из Италии, чтобы «класть камни», как

многие его соотечественники, но для этого дела, по его же словам, оказался недостаточно крепок. Да и правда, он был худющий, ремень стягивал брюки на талии так сильно, что образовывались складки, а кроме того, он сутулился и пошатывался, прямо как тростник. Всякий раз, как надо было о чем-то его попросить, начинались терзания. Я была убеждена, что когда-нибудь он свалится со стремянки, или кубарем покатится по лестнице, или не сможет удержать нашу тяжелую входную дверь и та его раздавит насмерть. Я все время просила: осторожнее, осторожнее, — и, по-моему, ему это нравилось. Он говорил: «Ах, мадам Соня, вы еще хуже моей жены!»

Уходя по делам или за покупками, я оставляла Анну у них, в двухкомнатной квартирке, вкусно пахнувшей свежей выпечкой. Мадам Сантулло учила меня хозяйничать — объяснила мне, например, что существует всего лишь два правильных способа готовить соус из помидоров. Один — за три минуты на сильном огне, и он брызжет во все стороны, другой — за два часа, на маленьком огне, «riano, riano». И еще время от времени я заходила к ним выпить рюмочку, мы садились втроем вокруг столика, накрытого светло-зеленой клеенкой, всегда чистой, но неизменной на протяжении всех лет. Мадам Сантулло (я не знала и не знаю ее имени) отодвигала бумажки, именно она заполняла счета за мелкие работы, выполнявшиеся месье Сантулло. «Ми-и-илио», — звала она, почти не произнося в начале «Э», и казалось, что имя мужа само собой вылетает из ее уст. Не знаю, отдавала ли она себе отчет в том, сколько любви и нежности вкладывает всякий раз в это имя... Мадам Сантулло наливала нам по рюмочке ликера из дыни или граппы, а когда супруги возвращались из отпуска, проведенного на родине, откупоривала бутылку *Lakrime Christi*,^[25] белого вина, при первом же глотке которого глаза у меня начинали сами собой щуриться от наслаждения, ибо вкус казался поистине неземным. У них стояли такие небольшие табуреточки, на которых надо сидеть прямо, поставив локти на стол, на зеленую клеенку. Каждый год, 31 декабря, мадам Сантулло меняла кружевные занавески у входа в швейцарскую. «Чтобы как следует встретить Новый год!» — объясняла она. Целыми днями она стряпала для мужа, вела бухгалтерию мужа, разбирала почту, что на самом деле входило в обязанности мужа, и всячески обихаживала мужа.

О чем мы говорили в те вечера, сидя в этой живой и настоящей кухне за покрытым клеенкой столиком, под пожелтевшей картой Италии на стене, когда Анна бегала за дверью по коридору с друзьями, смеясь, смеясь, смеясь во все горло? В Париже Анна была смешливой маленькой девочкой. Нет, не помню, о чем мы тогда говорили, но очень хорошо помню, как они были нежны друг с другом, мадам и месье Сантулло, помню улыбки, которыми они обменивались, — улыбки понимания и терпимости, помню молчаливое сообщничество этих двух людей, которые знали друг друга наизусть, каждый из них мог закончить за другого любую фразу, и не делали они этого попросту из уважения друг к другу. Того самого уважения, что заставляло их в сотый раз выслушивать с улыбкой из уст другого одну и ту же историю.

Потом мадам Сантулло постепенно начала меняться. Я не сразу поняла, в чем дело, мне почудилось, что просто годы берут свое и потому ей с каждым днем труднее быть все время на ногах и ухаживать за мужем, как за малым дитятей. Однажды, когда мы сидели втроем на их кухне, глаза ее посреди разговора вдруг стали пустыми, без всякого выражения, и она уставилась на нас, будто мы незнакомы. Мало того, резво вскочив, указала мне и своему Эмилио на дверь. Месье Сантулло подошел к жене, приобнял и, что-то нашептывая на ухо, повел в спальню. Вскоре жильцы стали говорить, что бедняжка мадам Сантулло сошла с ума,

что она забывает на огне кастрюли, что почта целый день валяется под дождем, что она не поменяла к Новому году занавески и ходит постоянно в одном и том же фартуке в цветочек. А моя соседка Мадлен, которая работала медсестрой в больнице, заявила, что совершенно уверена: это — болезнь Альцгеймера. В то время я понятия не имела, что это за болезнь, и Мадлен, отличавшаяся умением в двух словах объяснить самые сложные вещи, назвала этот недуг «забыванием всего». И я, помнится, подумала, что так ведь скоро она перестанет узнавать своего Эмилио, и забудет, как его зовут, и не сможет больше выговаривать «Ми-и-илио» с такой нежностью и певучестью, а ему будет страшно не хватать звука своего имени, произнесенного с безграничной любовью.

Несколько месяцев спустя мадам Сантулло пропала. Вышла за хлебом, но не вернулась и через три часа. Тот день выдался невыносимо жарким, мы с Анной, совершенно раскисшие, сидели у себя в квартире, задернув все занавески, перед крутящимся во всю мочь вентилятором и пили литрами оранжад. Париж как будто бы накрыло колпаком из солнца. Месье Сантулло постучал в нашу дверь, повторяя: «Моя жена ушла, моя жена ушла...» Мы втроем побежали ее искать по опустевшему Парижу. Небо было тогда какой-то невозможной синевы, оно сверкало и слепило, редкие прохожие крались вдоль стен, надеясь хоть так спастись от зноя.

Анна отнеслась к событию очень серьезно, а наши поиски консьержки, наверное, заменили ей, совсем еще маленькой, охоту за сокровищами. Она внимательно, со всех сторон, осматривала каждую помойку, заглядывала за баки, без малейших колебаний заходила во двор любого дома, а иногда принималась там кричать: «Мадам Сантулло! Мадам Сантулло!» Пропажу мы нашли три часа спустя, на маленькой улочке близ Монпарнасского кладбища. Мадам Сантулло сидела на тротуаре, голова у нее свисала, как у усталой марионетки, глаза были пустые, ноги босые, губы, сухие и белые, безостановочно шептали: «Ми-и-илио, Ми-и-илио, Ми-и-илио...» Хотели поймать машину — как бы не так. Задыхаясь и истекая потом, мы донесли мадам Сантулло до ее квартиры, положили на кровать, и она показалась мне безразличным ко всему ребенком, существом без воспоминаний и прошлого, а Эмилио сказал: «Понимаете, мадам Соня, она слишком много в жизни задумывалась».

Я просто онемела от этой фразы, а сегодня думаю, не ждет ли и меня такая судьба. Раз я слишком много задумывалась, слишком часто витала в облаках, значит, кончу тем, что потеряюсь в жизни. И все.

На первом этаже слышны веселые голоса, торопливые шаги, там отдают приказы, двигают стулья, чем-то звякают, с грохотом падают на пол ящики, хлопают двери... Только что, войдя в этот замок, я не видела никого, кроме пухленькой дамочки. А теперь то и дело подъезжают, скрипя шинами по гравию, машины, взвизгивают ручные тормоза — наверное, из-за того, что ехать приходится по склону. Я совсем забыла, что мы здесь ради свадьбы и соберется много народу, что придется есть, пить, что надо будет улыбаться и притворяться счастливой. Останавливаюсь перед дверью Анны, прислушиваюсь. Там смеются. Стучу и захожу.

Комната Анны почти в точности повторяет мою. Дочка сидит, повернувшись к окну, над ее лицом трудится визажистка. Хоть я и не подавала голоса, Анна издали окликает меня, почти не разжимая рта — визажистка как раз приступила к окраске губ. На Анне ее подвенечное платье. Принцесса, да и только... Белизна наряда и мелкие цветочки в волосах делают ее какой-то особенно нежной, и меня это трогает. Становлюсь рядом с визажисткой,

молодой женщиной с толстым слоем шпукатурки на лице, с готической подводкой глаз и бледными ненакрашенными губами. У Анны глаза закрыты, рот приоткрыт, руки лежат на пышной белой юбке, вокруг шеи — полотенце. Она едва заметно улыбается, потому что знает: я рядом, и спрашивает: «Ну и что скажешь обо всем об этом?» Я наклоняюсь к ней и шепчу, что она прекрасна.

Не успеваю договорить, и мне уже кажется, что фраза совершенно идиотская, ей столько раз это сегодня повторяют, разве не это всегда говорят невесте на свадьбе — точно так же, как, глядя на фотографию ребенка, «ах ты какая пусечка-лялечка»? Мне бы хотелось найти какие-то совсем свои слова, только мои и только для нее, но момент упущен. Визажистка изготавливает на тыльной стороне руки какие-то сложные смеси — в том месте, где утолщение между большим и указательным пальцами. И вот уже она старательно наносит эту бледную краску на лицо моей дочери. Разглаживает, превращает кожу Анны в безупречную, какой в природе не существует. Говорю ей — может быть, слишком строго, — что не нужно закрашивать родинку у левой брови, дочка улыбается. В это время в комнату врывается Нина, подсакивает ко мне и звонко чмокает. Я беру ее лицо в руки и вспоминаю, какой она была забавной маленькой девочкой, когда приходила порыться в моих коробках, как она строила вокруг себя крепость, как становилась принцессой на день во дворце, возведенном из старых книг. Нина говорит мне: «Ой, вы платье надели!» Анна хихикает, я делаю вид, что задета за живое, Нина умирает со смеху, и я ясно вижу, что мы — как в фильме: подружки вокруг невесты, веселые, подшучивающие друг над другом... На самом деле я всегда хожу в старых джинсах с майками, а когда выхожу в свет, заворачиваюсь в сари. Сари у меня всех цветов радуги, и в них я похожа на знатную даму-индуску, но сегодня мне не хотелось на нее походить. Мне хотелось раствориться в этой свадьбе на французский, на западный лад, — свадьбе, где новобрачных осыпают рисом и лепестками роз, и подают многоэтажный торт, и разливают по бокалам шампанское, и звучит вальс, и поют скрипки, и кругом нежные цветы, и все как полагается. Иначе говоря, никаких барабанов, никакого шафрана, никаких наполняющих жизнь чистотой звуков мантры, никакого камфарного дымка, никаких огней, никаких красных цветов, никаких специй, а значит — и никакого сари...

Анна встает, платье замечательно ее облегает. Сейчас ей дадут в руки душистый букет: зеленые стебли коротко обрезаны, лепестки цветов крепко сомкнуты. Нина говорит: «Какая ты красивая, Анна!» Ну вот! Первая фраза, какие положены, каких не положено... Нина будет на свадьбе подружкой невесты, она в коротком красном платье, юбка на бедрах прилегающая, ниже — широкая. Она скачет по комнате, смотрится в зеркало у входа, поправляет заколку, придерживающую прядь волос. Может быть, думает, обратит ли кто-нибудь сегодня на нее внимание...

Беру дочку за руку, на каблуках она немножко повыше меня, а когда я искоса на нее поглядываю, то не вижу родинки у левой брови. Во дворе гудит машина, и Анна говорит: «Ой, опоздаем!» Спускаемся. У машины, украшенной с обеих сторон белыми лентами и букетом на капоте (каким чудом он там держится?), видим Ива. Он надел другой пиджак и сменил галстук, пиджак синий, как мое платье, галстук — желтый, цвета зимнего солнца. Ив вытянулся в струнку, вид у него торжественный.

Думаю о Мэтью, о странах, в которых он жил, о той, где он сейчас, интересно, о чем думает он в эту минуту? Сжимается ли у него сердце, забилося ли оно сильнее, а он не понимает почему, идет ли к нему волнение отсюда, из этого просторного двора с густым

лесом и рапсовыми полями вокруг, со двора, где его дочь садится в машину, чтобы ехать на собственную свадьбу, замуж, и другой, не он, играет роль ее отца?

Три минуты — и мы на месте, в деревне под горой. Мы ждем у мэрии, тихо, как-то поворовски, пока подойдет семья жениха. Артемар — коммуна старой Франции: мэрия, школа с детским садом напротив, чуть подальше церковь, несколько потрепанных «рено-12», бакалейная лавка, где заодно торгуют хлебом, табаком и газетами, ставни пока закрыты. Звонит телефон, Эрик слушает и отвечает: «Хорошо, мы уже здесь».

Все так упорядоченно, тут не только слово страшно сказать — даже дышать страшновато. Интересно, а что происходит сейчас в голове у моей дочери? Думает ли она об отце, о тех годах, что мы провели с ней в тишине, при закрытых дверях? О том дне, когда я сказала, что ее отец — любовь моей юности и что я не могу его найти, потому что даже и не знаю, с чего начать? О том дне, когда я призналась, что отец и не подозревает о ее рождении, а она заплакала и назвала меня эгоисткой? Об имени, которое она вытянула-таки у меня, и катала его потом на языке, и размышляла о нем целыми днями? Мэтью, Мэтью... О подробностях, которые она выведывала, а я скрыла? Да, я поступила жестоко, жестоко, конечно, но как было сказать ей, что поздно возвращаться в прошлое, в то время, когда она была у меня в животе и я еще могла выбирать, сообщить или не стоит? Как объяснить ей, что в мечтах отца ей не было места, что я не хотела ему навязывать ребенка из любви к нему? Говорю «из любви», но любовь ли это, когда не говоришь мужчине, что ждешь от него ребенка, мужчине, которого ты любишь и который любит тебя? А может быть, это и впрямь лишь доказательство моего эгоизма, моей трусости? Может быть, он был бы счастлив стать папой? Нет, эта вымощенная «может быть» дорога чересчур скользкая, я не жалею о выборе, сделанном двадцать четыре года назад, и не хочу о нем сожалеть. Это ни к чему, и действительно слишком поздно.

Я знаю, в школе Анна рассказывала, что ее отец — кочевник, бродяга. Это определение она нашла для него сама. Мэтью-бродяга. Мне часто снится, что я стою перед судьями, но не знаю, в чем меня обвиняют. И просыпаюсь с неприятнейшим ощущением: меня обвиняли в том, что я плохо воспитывала дочь. Я сделала что могла, да, я сделала все, что могла, исходя из того, что умела, из того, что успела узнать. Я никогда не жила вместе с мужчиной, я никогда не приводила его в дом. У меня никогда не было долгой любовной связи, я не хотела, чтобы Анне показалось, будто я не с ней, будто мы с ее отсутствующим отцом объединились, будто я ее бросила. Я отдала ей все, что у меня было, ну, мне кажется, все. Так трудно быть матерью, не знаю, как у других получается все успевать, имея двух-трех ребятишек, как им удается всегда сохранять на губах улыбку, всегда выглядеть уверенными, уверенными во всем, во всем... а дети у них при этом растут здоровыми, спокойными, они аккуратны, причесаны и ходят с безупречным пробором на боку... Помню, когда я гуляла с Анной или приходила на школьные праздники, неизменно восхищалась другими мамами, жадно слушала их мудрые речи, пыталась подражать им, копировать их.

Может быть, я и отдала Анне всю любовь, на какую способна, но я не дала ей семьи. И теперь ясно это вижу: у нее ни брата, ни сестры, ни теток, ни двоюродных сестер и братьев, ни племянников, ни племянниц... На этой свадьбе я мало кого знаю. Ив, Нина да несколько подруг Анны. Завтра у новобрачных появятся новые друзья, новая семья, и они станут все больше и больше отдаляться от того круга одиночества, который являю собой я. И я закончу жизнь совсем одна, с героями своего очередного романа, и, как книга, покроюсь пылью, и

обо мне забудут.

Вхожу в мэрию первой, люди оборачиваются, я, опустив глаза, улыбаюсь, потом вижу Алена, там, впереди: он ждет меня, он машет мне рукой. Тут много женщин в шляпах, и я кажусь себе смешной с этим налаченным узлом на затылке. По крайней мере, такой же смешной, как мэр в трехцветном кушаке, из-под которого выпирает живот. Как будто он беременный в криво надетом бандаже. Сажусь где-то посередке, стул скрипит, руки становятся мокрыми, хочется бежать отсюда. Но тут почти сразу появляется на пороге Нина, а за ней и Анна в своем приличном подвенечном наряде, с букетом, под руку с Ивом. Все улыбаются моей дочери, а когда она проходит вперед, я понимаю, что вряд ли отсюда хоть что-нибудь разгляжу: шляпы все загораживают. Рядом со мной — незнакомая пара в парадных костюмах. Все совершается очень быстро, и из-за вентилятора я почти ничего не слышу. Бумаги подписаны, имена перечислены, два тихих «да» даже без поцелуя — и дело сделано. Анна и Алэн выходят, они нас не ждут, настоящая свадьба через час в замке. Мать Алена — я ее однажды все-таки видела — идет ко мне, протянув руки, и говорит: «Ах, дети слишком быстро вырастают!» Она звонко меня расцеловывает и представляет куче людей, ни лиц, ни имен которых я не в силах запомнить.

Выхожу из мэрии одна, солнце просто слепит. Ив ждет меня в сторонке, он курит. Делает знак головой: подойди, мол. Осматриваюсь, как будто собираюсь тут что-то украсть, и кидаюсь к нему, к сигарете, которую он мне протягивает. Люди уходят, они торопятся, я не понимаю, зачем в мэрию-то явилось столько народу, пытаюсь запомнить хоть кого-нибудь, но сигарета слишком вкусна, чтобы я могла подумать о чем-то другом.

Вдруг поблизости останавливается такси и из него выскакивает высокий мужчина с выгоревшими на солнце почти добела волосами, он оправляет пиджак, пару раз хлопает руками по брюкам, можно подумать, он вышел из пылевого облака, потом бросается в мэрию и тут же выходит обратно с разочарованным видом. Смотрит вокруг, замечает меня с моей вкуснейшей сигаретой, и у него становится дивное выражение лица. Он слегка пожимает плечами, изображает губами полупристыженную, полунасмешливую гримаску: вот, дескать, опоздал, простите уж. Почему он извиняется именно передо мной? Может быть, потому, что я одна смотрю на него в эту минуту? Ив ищет по карманам пиджака сигареты, люди втягиваются в машины, кое-кто из молодежи громко смеется, новобрачные уже далеко. Я одна на него смотрю и, собезьянничав, повторяю его движения: пожимаю плечами, полуулыбаюсь не то смущенно, не то насмешливо. Потом — как будто нам по шесть лет, и как будто мы только что вдвоем сильно нашалили, и нам непременно влетит, хотя, с высоты наших шести лет, нам на это малость наплевать, и все равно у нас, конечно же, останется приятнейшее воспоминание об этом детском проступке — мы начинаем хохотать, опоздавший мужчина и я со своей сигаретой. Он — чуть откинув голову назад, но не сводя с меня глаз, я — прыская сквозь клуб дыма, который не сумела в себя вдохнуть. Два шкодливых и непоседливых дитяти, вот кем мы стали в эту минуту. К нему подходит высокая женщина в шляпе, целует его, уводит... но перед тем, как уйти с ней, он потихоньку машет мне рукой.

— Это твой знакомый?

— Нет.

До чего же мне хотелось бы сказать Иву «да»: да, да, да, знакомый. Не знаю почему, но мне чудится — знай я этого человека, легче было бы пережить этот день.

Поднимается ветер, мы с Ивом совершенно одинаково вскидываем головы, чтобы

посмотреть в небо. Деревня Артемар сейчас совсем пустая. Она вытянулась вдоль шоссе, нам видны виноградники на склонах холмов, а вон там — несколько ферм, далеко одна от другой... Сюда даже на лето не приезжают, только, как мы, на выходные, на ферму-трактир, чтобы отведать цыплят под сливочным соусом, лягушек — словом, набить брюхо; иногда на свадьбу в замке или просто случайно попадают. Эрик везет нас обратно в замок, у меня ощущение, что день — как облака над нашими головами — внезапно сгустился и полетел быстрее. Вспоминаю сегодняшнее утро, как проснулась на рассвете, как мы пили чай с Анной, вспоминаю нашу близость, когда мы обнялись, — и возникает неприятное чувство, что все это уже далеко, так далеко... Мне бы хотелось, чтобы Анна сделала меня ответственной за это «мероприятие», поручила бы мне какие-то дела, принимать людей, говорить с ними, но нет — она дала мне список с перечислением мест, где мне положено быть в такое-то время. Только быть.

Мы возвращаемся в замок, я поражаюсь тому, сколько сделано за то время, что мы были в мэрии. Перед лесом, лицом к нему, к его немножко пугающей чаще, воздвигнуто что-то вроде алтаря — беседка, обтянутая белой тканью и увитая зеленью. С десятков рядов белых стульев с проходом посередине, везде зелень, красные цветы и белые ленты. Все это напоминает декорацию американского сериала — из тех, что идут по утрам. Занимают свои места музыканты: гитарист, флейтист и скрипач; они обмениваются словами и нотами, настраивают инструменты. Ветер становится сильнее, он надувает ткань на «алтаре». Я подхожу немножко ближе к музыкантам — Ив остается позади, другие гости собираются группками вокруг замка. Подхожу, улыбаюсь, в первый раз за день говорю: «Я мама невесты». Они все трое встают, наверное, сейчас начнут кланяться и рассыпаться в комплиментах: «О-о-о, мама невесты, поздравляю, поздравляю, какой прекрасный день, какая дочка у вас красавица, как вы, должно быть, счастливы...» — но ничего подобного не происходит. Они поочередно жмут мне руку, не говоря ни слова, потом снова усаживаются и погружаются в свои ассонансы и диссонансы. Чувствую себя лишней и думаю, что то же, наверное, ощущают все, когда я вот такая — сосредоточенная, вся в своих словах, фразах, придуманной жизни.

Отворачиваюсь от них, собираюсь уходить и тут вижу того высокого мужчину, что утром опоздал. Он причесался, но пряди волос от ветра все время падают на глаза. Он надел красный галстук, черный пиджак, бежевую сорочку. Ему свойственна небрежная элегантность, какая дается отнюдь не всем мужчинам. Быть одетым с иголки, в костюме-тройке, при галстуке, в запонках, в итальянской рубашке — такой, у которой крохотные пуговицы на воротнике, — сверкающей обуви... и тем не менее выглядеть естественно, непринужденно. Мы идем друг к другу, улыбаемся. Он протягивает мне руку, я пытаюсь быть на высоте и крепко ее пожать, но ему нужно вовсе не рукопожатие. Он берет мою ладонь в свои и говорит: «Вы мама Анны? А я папа Алена».

Мама и папа. Не в надлежащем порядке, конечно, не совсем по правилам, не в присутствии супругов, как полагалось бы, но поскольку всё на одном дыхании — кто угодно ошибся бы. Всего шаг до мужа и жены, любовника и любовницы, возлюбленного и возлюбленной. Он говорит «мама» и «папа» — и мы снова становимся детьми и снова начинаем улыбаться. У него крепкие руки, чуть шершавые у основания пальцев, и мне хочется стоять так, доверившись ему, долго-долго. За нами — музыканты, лес, рапсовые поля, небо и ветер. Ветер треплет мой узел, несколько прядей выбиваются и пристают к лицу. Папа Алена, не отпуская правой рукой моей руки, левой тянется к моему лицу, вот

сейчас он отведет непослушную прядь, заправит ее мне за ухо, а потом легонько погладит пальцем мочку, вот что он сделает, от этой ласки у меня мурашки побегут по телу, его рука в трех сантиметрах от моих глаз, я вижу длинные пальцы, темные линии на ладони, но внезапно мы оба понимаем, что этот его жест — чересчур интимный, я делаю шаг назад, а он тут же отпускает мою руку. В сердце перебои, я точно не в себе. Какую-то долю секунды мы смотрим друг другу в глаза, потом он улыбается и сторонится, чтобы дать мне пройти.

Ноги держат меня плохо, но я стараюсь ступать твердо, надо сохранять достоинство. Когда я покупала это платье, оно было выбрано за тонкую строчку орнамента на спине, которая бежит вдоль выреза, словно бы вторя изгибу бедер, а потом расширяется, чтобы в конце концов раствориться в узоре ткани. Анна спросила тогда, зачем такой красивый орнамент поместили на спине, а я ответила — для тех, кто будет провожать меня взглядом. Она засмеялась, моя дорогая девочка, она думала, я шучу, думала, это для красного словца, в самом деле, ну кто станет провожать ее маму взглядом... Сейчас я вспоминаю наш разговор — потому что знаю, даже не оборачиваясь: «папа Алена» позади и провожает меня взглядом. Иду к Иву, он стоит на крыльце, прямой как палка. От него хорошо пахнет — наверное, заново надушился. Он ждет сигнала, чтобы идти за Анной.

Благословит молодых пастор. Он уже здесь, рядом с нами, весь в пурпуре, вылитый кардинал, жесты у него широкие, к губам приклеена улыбка, походка медлительная и тоже какая-то широкая... будто он идет в ритме вальса, слышного ему одному. Нина спускается по лестнице, делает знак Иву, священнику. Тот — таким же широким жестом — приглашает нас сесть. Я сажусь на место, указанное каким-то приятелем Анны, — справа в первом ряду. Здесь, кроме меня, никого нет. Слева — семья Алена в полном составе. Его мама, Эвелина, в своей широкополой розовой шляпе, которую приходится придерживать, чтобы не улетела, по левую руку Эвелины — папа Алена, его светлые волосы видны мне из-за шляпы, шляпы его жены... его бывшей жены. Рядом с ними старая дама с удивительно приятным лицом. Иногда с возрастом так бывает: годы не делают черты лица более резкими, а, наоборот, смягчают их, морщинки дарят глазам улыбку, кожа становится пушистенькой и нежной, как у младенца, просто чуть побольше складочек, веки чуть отяжелели, опустились на глаза, наверное, чтобы смягчить суровость взгляда...

Рассаживаются остальные гости. Узнаю друзей Анны, ее коллег, которые бывали у нас в доме, потом подходят другие, мне незнакомые, вежливо улыбаются — уже поняли, кто я: раз сижу на этом месте, значит, мама Анны. Приближается Алена. Он один, ну, то есть, с Эриком. Садится с моей стороны, рядом со мной, я ласково дотрагиваюсь до его руки. Надеюсь, что ласково. Он мне улыбается, он сосредоточен, чуточку напряжен. Флейтист начинает играть «Only you». ^[26] Музыка отражается от стены леса, некоторое время не слышно ничего, кроме этой музыки. Мы встаем: вот и моя любимая единственная дочь об руку с Ивом. На ней тонкая фата, прикрывающая лицо и шею, букет она обвязала плотной красной лентой. Ив рядом с ней такой прямой, такой серьезный. Он держит Анну за руку, как влюбленный, и это кажется мне трогательным. За ними — подружки в красном. А еще дальше, за подружками, вижу наверху, на ступеньках, черноволосую женщину, чья светлая кожа кажется странной при таких черных волосах. Она подносит два пальца к уху, как агент секретной службы в кино, она говорит, прикрывая рот. Все прекрасно, все, как предусмотрено, все на своих местах. Когда музыка умолкает, становится слышно, как треплет ветер бежевую ткань. Пастор произносит подходящие к случаю слова, слова из фильмов, хорошо отрепетированные. Я толком не слушаю. Я смотрю на свою дочь: как она

смотрит на мужа. В фате она похожа на ангела, они держатся за руки, ее грудь не вздымается, она спокойна, сосредоточена, она не улыбается, она осознает важность момента. Под фатой ее волосы кажутся светлее, чем на самом деле.

До семи лет или около того Анна была кудрявой и светловолосой. По ночам я смотрела на нее спящую и не понимала, как у меня получилось существо, настолько не похожее на меня саму. Как будто, возмещая отсутствие отца, девочка взяла все только у него. Его бледность, его легкие, по-английски вьющиеся волосы, его тонкую кожу, которая мгновенно краснеет, стоит Анне устать или рассердиться. Я смотрела на нее и видела Мэтью. Без родинок, но — его дочь. Однажды, по совету подруги из журнала, я срезала прядку волос Анны — нежную золотистую запятую, мягкий завиток, который хранится у меня в кожаном мешочке и который Анна то и дело просит показать ей. Когда я вынимаю прядку, Анна осторожно берет ее двумя пальцами, подносит к своим длинным, теперь прямым, почти черным, как у меня, волосам и говорит всякий раз одно и то же: «Нет, невозможно поверить!» Ей жалко, что она перестала быть блондинкой, она убеждена, что со светлыми волосами была бы красивее, но она знает, как меня огорчают эти светлые волосы. Они стали причиной нашего отъезда из Парижа.

Анне тогда было шесть лет, мы уже четвертый год жили на улице Шато в Четырнадцатом округе, у меня уже сложились там свои привычки. Месье и мадам Сантулло, несколько милых и сдержанных соседских семей, двор с велосипедами, — ах, ничто не может сравниться с таким двором, где молодежь, в основном мальчишки, пока еще немисливо простодушные, тренькают звонком, и бешено крутят педали, и верят, будто так можно чего-то добиться, а иногда девочки садятся на раму, и их катают... Но главное — стена напротив, весной в лиловых глициниях, я никогда до тех пор не видела таких глициний. Начиная с апреля они обвивали всю стену, свисали гроздьями, можно было подумать, это виноград, можно было подумать, это аляповатые стилизованные картинки к греческим мифам, а они так и висели иногда до конца мая, старели и выцветали, становились почти белыми, и я ласкала эти глицинии взглядом каждый день их коротенькой жизни и издали говорила с ними.

По утрам я работала дома — писала на нашем маленьком кухонном столике, только от руки. У меня и сейчас мозоль на среднем пальце, он чуть-чуть кривоват от этого, а еще у меня с тех пор завелась привычка быстро-быстро тереть эту мозоль, когда задумываюсь, тру ее и тру, как будто оттуда вылезет добрый дух и исполнит три моих желания. Анна ходила в школу — двести метров от дома, я сама отводила ее туда по утрам. Провожания занимали хорошо если пять минут, но она все это время держала меня за руку, пусть все видят, что мама ее провожает, — чтобы провожания не остались незамеченными, чтобы имели смысл. Мне кажется, детям вообще нравятся ритуалы. Этот был нашим, и мы совершали его каждое утро. В одиннадцать я собиралась на работу, садилась в автобус — чтобы прислушиваться к разговорам, чтобы присваивать потихоньку кусочки жизни пассажиров. В этот час ездили куда-то одни старики, они говорили громко и почтительно меня приветствовали: «Добрый день, мадам!» — а я уступала им место, если народу было много. Я приходила в редакцию — в дом за церковью Нотр-Дам-де-Лоретт — и работала без перерывов до шести вечера: правила, вылизывала текст, переделывала заголовки, обязательно убирала каламбуры. Я не люблю каламбуры, это слишком по-французски, как будто слова узнают друг друга, отторгая все, французскими не ставшие, и никакой словарь тут не поможет. Кто, кроме француза, поймет и станет смеяться, услышав: «Я тебя лю...бой доской огрею»? Мне и самой теперь

иногда, что меня совсем не радует, в голову лезут примитивные ассоциации, каламбуры, дурацкие рифмы... Так бывает иногда... И я делаю над собой усилие, чтобы не произносить их вслух, — это мой способ сохранить достоинство, отличаться от других, жить своей жизнью. Не отвечать: «А я люблю те...лятину с картошкой».

С Анной сидела молодая англичанка, и, когда я около семи возвращалась с работы, мы как минимум с четверть часа говорили только по-английски — при Анне, для Анны, а эта паршивая девчонка только вздыхала. В день сдачи номера мне нужно было оставаться на работе допоздна, и тогда Анну брала к себе какая-нибудь из моих подруг, или мадам Сантулло, или Мадлен, моя соседка-испанка, невероятно сексапильная. Анне больше всего нравилось ходить к Мадлен, они смотрели там испанские фильмы. Мадлен включала печальную музыку и танцевала на высоких каблуках, и для Анны, наверное, это была чистая экзотика, вот только она не имела права произносить это слово при мне. Слово «экзотика» — несправедливое слово и слово неточное, приблизительная оценка, порожденная невежеством и патернализмом. Если ты экзотичен — ты не можешь быть умным и интеллигентным. Если ты экзотичен — тебе никогда не получить Нобелевской премии. Если ты экзотичен — ты наверняка приглуповат, ты не знаешь самых элементарных вещей, ты недоразвитый дикарь.

Мы стали жить этой обычной жизнью, без особых неожиданностей, мать и дочь, старающиеся всегда поступать правильно. Иногда мне казалось, что я так и состарюсь здесь, в этой квартире с гудящим холодильником и приклепанными к стенам яркими рисунками Анны. Я здесь чувствовала себя защищенной, я все здесь находила с закрытыми глазами, я могла надолго оставлять Анну в скверике, откуда до меня доносились детские голоса. Но ничего не бывает так, как задумано, а особенно — так, как вымечтано.

Однажды (Анне тогда только-только исполнилось шесть) мы пошли в субботу за покупками в супермаркет у метро. Там оказалась тьма народу, целые семьи толкали впереди себя тележки с товаром, все время что-то вещал громкоговоритель. Анне хотелось розовых конфеток, таких кисленьких, химических, которые на языке пенятся, и глаза от такого наслаждения зажмуриваются сами собой. Почему-то, до сих пор не знаю почему, я в этот день решила проявить родительскую власть. Я никогда не умела и не умею выбирать, когда сказать «да», когда сказать «нет», часто ошибаюсь, вот и в тот раз сказала нет. Ка-те-го-ри-че-ски! Как будто эти чертовы конфетки за два франка могли ее испортить, превратить в балованного ребенка. Бог его знает, о чем я тогда думала. Наверное, все из-за этого гула, этой толпы, мечущейся от стеллажа к стеллажу, этих людей, которые покупают, покупают, покупают, предчувствуя близящийся конец света...

Надутая Анна, топоча и поскуливая, ходила за мной по отделам магазина, а я чувствовала, как во мне нарастает ярость. Я пригрозила, что она от меня получит по попе, хорошенько получит, — отшлепать за конфеты, что на меня нашло, я же сроду не ударила свою дочку... Она уставилась на меня широко раскрытыми глазами, я до сих пор помню эти распахнутые глаза, этот дрожащий подбородочек, но тогда я сказала еще строже и еще громче, что если она разревется, то еще и добавки за это получит, так что пусть лучше уймется наконец. И продолжала двигаться с тележкой вперед, продолжала угрожать Анне, шипела, как сварливая старуха, никак не могла найти молоко — нравится им все время переставлять товары, чтобы мы здесь носились как угорелые...

В какой-то момент я обернулась — Анны рядом не было. Помнится, сначала я не испугалась, только подумала, что теперь уж точно надо ее отшлепать как следует. Громко

крикнула: «Анна!» Люди сновали мимо меня, все промежутки между стеллажами были забиты покупателями, и вдруг я почувствовала, что от всех этих незнакомцев исходит угроза. Какие-то развратные мужики с похотливыми взглядами, огромные тетки, поедающие маленьких потерявшихся девочек, буйные дети, которые ее побьют, прыщавые мальчишки, которые зажмут ее в углу и напугают, а то и чего похуже... И что же я сделала? Бросила тележку и стала вопить все громче и громче: «Анна! Анна!» Ее нигде не было. Я стала подпрыгивать, чтобы разглядеть ее поверх голов, я пыталась увидеть моего ребенка сквозь ноги этой толпы, едва не ложась на холодный грязный пол, искала глазами ее красные башмачки, подарок Мадлен. Я потеряла свою дочку, какая мать на такое способна! Я дергала всех вокруг: «Вы не видели беленькую девочку в красных башмачках?» Больше я ничего не могла вспомнить из того, что было в тот день на Анне, — синее пальто или желтое, ну почему, почему мне никогда не удавалось запоминать такие простые вещи! Мысли в голове скакали как сумасшедшие, я понимала, что надо срочно что-то делать, я боялась, я чувствовала себя виноватой, я уже готовилась к худшему. Вокруг меня стали останавливаться, но я не слушала, что мне говорят, я спрашивала про дочку, но не слушала ответов. Мне казалось, что я ищу ее уже сто лет, когда из громкоговорителя вдруг раздался треск, а потом женский голос произнес на весь магазин: «Девочка Анна ждет свою маму в офисе. Девочка Анна ждет свою маму в офисе».

Я ринулась туда, меня нес в этот офис тот самый приток адреналина, который я ощущала на старте, когда в школьные годы была чемпионкой по бегу на короткие дистанции. Такой решимости я в себе не чувствовала уже много лет. Я развернулась и сорвалась с места, будто мне снова пятнадцать. Наверняка я показала тогда лучший результат, на какой способна, но меня подхлестывало в тот день не соперничество, меня волновало только одно: я хочу найти свою дочь. Ноги едва касались земли, я не хуже слаломиста лавировала между тележками, я ухитрилась не свалить на землю десятки детей — меня влекла за собой таинственная сила.

В офисе я увидела свою Анну — с мокрыми щечками, большой палец во рту. Бросилась к ней с единственным желанием обнять, прижать к себе покрепче, попросить прощения, умолять... но мой порыв был пресечен здоровенным парнем с огромными ручищами, которого я даже и не заметила сначала. Грубым, разумеется, грубым голосом он спросил:

— Вы кто, собственно?

— Как это «кто»? Я мама этой девочки, мама Анны.

На нем был зеленый пиджак, кошмарный какой-то синтетический блейзер, скрипевший, стоило ему пошевелить руками. Он стеной перегородил мне доступ к дочери. Еще бы — при таком-то росте и сложении, стена и есть! Придерживая меня ручищей за плечо, он обернулся к Анне, посмотрел на нее, на меня, опять на нее, снова на меня, потом отодвинул меня в сторону, как будто я его восторженная поклонница, и прокричал этим своим нарочито грубым голосом:

— Не может быть!

— ТО ЕСТЬ КАК ЭТО?

Своего собственного голоса я не узнала — он был очень высоким и пронзительным.

А парень, теперь уже тихо, повторил, глядя мне в глаза точно так, как я глядела в глаза Анне, когда впервые в жизни обещала задать ей порку, повторил, четко разделяя слова, будто говорил с дебилкой:

— Этого. Не. Может. Быть. Мадам.

Этого не может быть?! Никогда в жизни я не была в таком бешенстве, еле удержалась, чтобы не набить ему морду, не заехать коленом по самому чувствительному месту, мне показалось, что я в опасности, что он мне угрожает. Я чувствовала, как во мне растет сверхъестественная сила, мужская сила, что-то мне доселе неизвестное, но такое, чему никто на свете не сможет сопротивляться. Этого-не-может-быть.

Я бросилась на него, я старалась уцепиться за Анну. Сердце выскакивало из груди, подступали слезы, вот они уже полились, и я заорала:

— Пустите меня, да пустите же!

Там уже собралась небольшая толпа, но мне было наплевать, я неистовствовала... И в этот самый момент Анна совершенно спокойно сказала:

— Это моя мама.

Громила присел на корточки, попросил мою девочку повторить, и она повторила:

— Это моя мама.

За одну минуту я услышала самые обидные и самые прекрасные слова в моей жизни! Анна подошла ко мне, всунула свою влажную ручку в мою ладонь — и тут я увидела то, что видел перед собой охранник. Заплаканная беленькая кудрявая девочка с тонкой покрасневшей от слез кожей, явная француженка, и истеричная брюнетка, смуглая, с черными волосами, явная иностранка. Я подхватила Анну на руки, она вцепилась в меня, зарылась лицом в волосы, сжала меня так крепко, как только могла, бедная потерявшаяся девочка, обвила ногами мою талию, мы как будто приклеились друг к другу, срослись, мне показалось, что она совсем легонькая, мне показалось, что я создана для того, чтобы носить ее на руках, и ни для чего больше.

Громила в синтетическом блейзере стал бормотать «простите-извините», но я ему ответила первыми же бранными словами, какие пришли в голову, — это я-то, я ведь никогда не ругаюсь, а тем более при Анне! Я выговорила четко, разделяя слова, как он пять минут назад:

— Пошел. В жопу. Мудак.

Мы вернулись домой на такси, я так ничего и не купила. Только розовые конфетки для Анны — три пакетика. В тот же вечер я позвала к себе Мадлен и приготовила рыбу в сухарях и «Плавающие острова» — то, что больше всего любит Анна. Я зажгла свечи, а Мадлен включила музыку. Анна все время смеялась, ее светлые волосы сверкали в отблесках пламени свечей, и я могла бы сто часов проплакать, уткнувшись в эти волосы. Ночью я глаз не сомкнула, все время ходила проверять, на месте ли она, моя дочка, только моя, моя ласковая, моя нежная Анна. Я дотрагивалась до нее так осторожно, будто она фарфоровая и может разбиться, и вставала на колени у изголовья ее кровати, и просила у нее прощения за угрозу, просила прощения за обещанную порку, просила прощения за то, что потеряла ее, пусть даже ненадолго.

На следующее утро я решила уехать из Парижа, перебраться в город поменьше, где мы с моей дочкой сможем укрыться, пока она не станет моей копией. У журнала был филиал в Лионе, мне понадобилось меньше пяти месяцев на переезд сюда, в нашу квартиру близ Соны. Анна ничего не сказала. В свои шесть лет она поняла, что случившееся в магазине сильно меня ранило. Она была умненькой и послушной девочкой, она аккуратно сложила свое барахлишко в коробки, мы переселились в Лион, а спустя полгода ее волосы стали темнеть.

И вот сегодня, когда она выглядит в фате такой изысканно бледной, такой

француженкой, такой здешней, на этой прекрасной, но нереальной, как глянецвый снимок, церемонии, я боюсь, что она снова станет непохожей на меня, до того непохожей, что нас решат разделить, потому что я — смуглая иностранка. И я проведу всю оставшуюся жизнь в ожидании, пока она спасет меня, заявив *всем*: «Это моя мама!»

Церемония заканчивается аплодисментами — прямо как хороший концерт. Овации... Ив, он рядом со мной, хлопает в ладоши изо всех сил, того и гляди отобьет, он страшно взволнован. Со всех сторон слышится: «Ура! Ура! Да здравствуют новобрачные!» — я даже и не знала, что в наши дни так бывает. Анна убирает с лица фату, откидывает ее назад, до чего же красивый образовался ореол, гости осыпают молодоженов лепестками роз и рисом. Дочка подходит ко мне, чмокает, меня так и подмывает обнять ее, удержат при себе подольше, но она нужна всем, муж тянет ее за руку, родственникам и гостям тоже хочется поздравить Анну, и я ее отпускаю. Вокруг царит радостная суматоха, и, кажется, даже Ив принимает в ней участие. Он подскакивает на месте, то и дело швыряет цветы, свистит в два пальца, болельщик на футбольном матче, да и только, никогда его таким не видела. Вдруг он поворачивается ко мне, хватает за плечи, притягивает и крепко целует в губы. Вот оно — счастье, нас захватила всеобщая радость, сотворенная этой свадьбой, мы забыли обо всем, стали детьми, мы смеемся как дети.

Да, я тоже смеюсь, я тоже ощущаю себя частицей этого праздника, я ищу глазами воздушный рис — где-то неподалеку должна быть целая корзина, я нахожу ее и делаю, как все: кричу «Урррааа!» и разбрасываю воздушный рис горстями, думаю даже, что я и «Да здравствуют новобрачные!» ору во всю глотку, а когда рис кончается, я принимаюсь бить в ладоши. Анна смотрит на меня и улыбается, совершенно волшебным образом улыбается моя дочка, ах, какая же она красивая, сердце мое переполняет ни с чем не сравнимая гордость, я ее мама, единственная на свете мама, — и я бешено аплодирую снова. У меня нет по отношению к происходящему ни малейшей иронии, никаких «смешанных чувств», все чисто, все ясно, я не чувствую себя идиоткой, на этот раз тело и дух слились во мне воедино.

Потом новобрачные погружаются в роскошный «ягуар» цвета сливы, чтобы проехаться по окрестностям, а желающим следовать за ними в кортеже предлагают разместиться в других машинах. Ив тянет меня за руку, но я отказываюсь, я хочу остаться тут, пусть даже и Эвелина в своей розовой шляпе, пометавшись туда-сюда, забирается в первый попавшийся автомобиль. Я возвращаюсь на свое место, на лужайке постепенно становится тихо, и тут меня начинают одолевает сомнения. Кажется, я поступила малость по-идиотски: зачем осталась-то? Вихрь счастья, который кружил меня, улетел, и я, воспротивившись ему по доброй воле, сама на себя навесила оковы. Почему я не поехала со всеми? Почему перестала кричать во все горло — так, чтобы и завтра просто даже по голосу было ясно: я радовалась свадьбе дочери? И вот уже, как обычно, меня охватывают сожаления об упущенном моменте, и вот уже мой измученный и изворотливый рассудок выходит на старт, а затем и полностью распоясывается.

Какие-то молодые люди в строгих костюмах здесь же, на лужайке, готовят аперитив: перед свадебным обедом положено выпить по бокалу вина за молодых. Я сижу напротив опустевшего алтаря и думаю, что даже пастор отправился с ними. Смешно! Стараюсь не смотреть в сторону леса, я знаю, что он не очень густой, но с той минуты, как я его увидела, меня к нему тянет, он меня преследует. Я понимаю, что если буду глядеть на лес долго, слишком долго, то встану и пойду туда и зайду далеко, и на этом кончится сегодняшний день. Смотрю в небо — там, мне кажется, плывет такая же тонкая фата, какая была на Анне, мое лицо ласкает свежий ветерок. Слышу шаги и слышу, как кто-то садится на стул позади

моего.

Больше книг на сайте - Knigolub.net

— Вы решили остаться здесь?

Это папа Алена, я сразу узнала его голос — как будто мы сто лет знакомы. Я сижу, прислонившись к спинке стула, узел на затылке смят, глаза закрыты. Не отвечаю, и он, наверное, думает, что я задремала, глядя в небо. А ведь правда, после всего этого шума и гама так приятно вслушиваться в мерное дыхание папы Алена, оно меня и впрямь убаюкивает. Он не шевелится. Я прикрываю глаза, небо сквозь ресницы еще больше похоже на фату, на лице — только ласка ветра...

Я медленно поднимаю руку, захожу ее за голову и начинаю одну за другой вынимать бесчисленные шпильки из прически, узел постепенно распадается, распускается, выбираю из волос застрявшие в них зернышки риса, и вскоре волосы — длинные, черные — льются по спинке стула. Долго поглаживаю их — чтобы распрямились и забыли о своем недавнем заточении. Знаю, что он на меня смотрит, но делаю все это не для него. Чувствую, что могла бы сейчас и туфли скинуть, и платье приподнять — пусть ветер освежит ноги. Дыхание за моей спиной остается ровным, но внезапно ощущаю волосами его руку. Нет, он не кладет руку на волосы, он забирается в них, забирается так глубоко, что дотрагивается до моей шеи. Он пропускает мои волосы между пальцами, будто расчесывает, до самых кончиков, один, два, три раза — нежно, ласково, томно, ме-е-едленно, в общем, так, что отвечаю на это там, внизу живота. Невозможно приятное ощущение: по черепу пробегают мурашки, бегут вниз, по шее, по плечам, мои волосы — как шелк у него в пальцах... этих пальцах волшебника, чародея... Я медленно поворачиваюсь к нему, у него на лице отрешенность, глаза смотрят в пустоту... От него ко мне, от меня к нему плывет желание, нас окружает коконом что-то, чего не назвать словами, но что придает смысл этому дню, которого я так боялась.

— Какая вы красивая с отпущенными на свободу волосами.

Он не говорит — «с распущенными волосами», он говорит — «с отпущенными на свободу». Галстука на нем уже нет, наверное, в карман затолкал, ворот рубашки расстегнут, и я вижу родинки. Три маленькие родинки прямо под левой ключицей. Брошенные на тело, как зернышки риса, рассыпанные, потерянные, ожидающие, пока кто-то их подберет, приласкает, поцелует... И думаю, глядя на них, что отдала бы все без остатка, чтобы посмотреть, есть ли у него на теле и другие, и что еще до того, как закончится свадьба Анны, мы с этим мужчиной будем любить друг друга.

Нет, это не было решением, которое я приняла, не было целью, которую себе поставила, или вызовом, который себе бросила, — это не я, это мое тело мне нашептало, спокойно, словно констатируя очевидное. Я забыла про Анну, забыла, что обещала ей весь сегодняшний день вести себя достойно и прилично. Я не знаю, как за это взяться, да и не думаю о том, как за это взяться, я просто знаю, что сделаю это, и все. В моей жизни редко случается такая уверенность. Я уверена, что мне надо писать, я уверена, что люблю Анну, но все остальное я делаю без всякой уверенности и до сих пор ни про что, пожалуй, не сказала бы «голову даю на отсечение», так ведь говорят, когда уверены в себе... И я думаю, что однажды кто-нибудь поймет, что я всего лишь самозванка, что писать не умею, воспитывать ребенка не умею, хозяйничать не умею, удержать мужчину не умею, что у меня нет собственного мнения, и все это пустое... А когда обнаружится, что все — сплошной маскарад, от меня останется лишь видимость женщины со смуглой кожей и черными волосами, затерянной в городе, не имеющей цели, мыслей, детей, книг.

Все, что я сейчас имею, висит на ниточке. Анна? Она уходит, она уже ушла, так ведь? Книжки? Они немного стоят. Я не умею написать великую сагу, которая продавалась бы в миллионах экземпляров, которую бы экранизировали и от автора которой ждали бы бесконечных продолжений. У моих книг успех очень умеренный, почти одинаковый у всех, такой... как будто бы за мной тянется, не подпуская ближе просто любопытных, шлейф из верных мне читателей, ангелов-хранителей, приберегающих меня для своего удовольствия. Мои читатели? Простые и скромные люди, как я сама.

Я часто хожу на лекции, круглые столы, встречи с теми авторами, которых люблю, и всегда удивляюсь тому энтузиазму, с которым на них потом налетают читатели, и обнимают, и берут за руку, и с кем-то знакомят, и несут всякую чушь, а потом громко хохочут, и шутят, и обмениваются с ними телефонами, и обещают позвонить, и приглашают где-нибудь посидеть, поужинать вместе. Со мной все по-другому. Люди, которые меня слушают, слушают очень внимательно, я не тороплюсь — и они не торопятся, я даю им время — и они мне. Потом они подходят, чтобы я подписала им книги, приносят с собой другие, вышедшие раньше, они разговаривают шепотом, никогда не лезут со мной целоваться, и мы никогда не шутим, мы обмениваемся не адресами, а рукопожатиями, и они уходят, спрятав книжку. Между нами словно бы существует невидимая граница, которую никто из нас не переступает, стыдливость это или сдержанность, не знаю, я женщина, пишущая книги, которые им нравится читать, акцент тут на слове «книжки», а не «женщина».

Вот, например, я знаю, что папа Алена никогда не читал ни одной моей книги, иначе никогда не смог бы вот так вот ко мне подойти, и это прекрасно, что не читал, иначе я никогда не смогла бы с ним переспать. Говорю так, будто это уже свершилось, будто мы уже договорились обо всем, подписали контракт, между тем я даже не представляю, о чем он сейчас думает, именно в эту минуту, когда мы сидим лицом друг к другу, его руки уже опять смиренно лежат на коленях, а я опираюсь на спинку стула. Позади меня — алтарь с хлопающим на ветру навесом, лес, долина, небо. За его спиной висится замок, по лужайке бродят несколько неприкаянных гостей, на столе все еще расставляют бутылки. Мы — между тем и этим, погруженные в молчание.

— Меня зовут Роман.

Он сказал «Роман», мне слышится «роман», мне слышится «романтика»... Италия, ветер, высокие кипарисы Тосканы...

— Соня.

Я вижу, как он пробует мое имя на язык, как, словно леденец, катает его во рту; он будто сам сказал мне об этом, не сказав ни слова. Он улыбается, и я благодарна за то, что не спрашивает, откуда я родом. Потому что все и всегда неизбежно спрашивают: «А вы откуда?» Ну и что можно ответить на этот банальный, этот нескромный вопрос? Собственно, о чем тут речь? Да, конечно, о стране, где ты родилась, но если ты провела больше лет в той стране, где живешь сейчас, чем на родине, то откуда ты на самом деле? Надо ли нам отказываться от здесь и сейчас ради того, чтобы навеки остаться в околоплодной жидкости родной страны, потому что, само собой разумеется, родина — это нечто прекрасное, волшебное, чистое, как родник в горах? Вы должны — те, кто задает такой вопрос, ждут именно этого, — вы должны говорить прямо, вы должны гордо произносить название страны, где родились, с мерцающей во взоре слезой, с тяжелым вздохом сожаления о том, что все это уже в далеком прошлом, вам не разрешается, если не хотите прослыть бесчувственной, отречься от своих корней. Вам попросту отказывают в

праве послать свои корни куда подальше.

Когда Роман на меня смотрит, мне хочется быть соблазнительной, соблазненной, в общем, женщиной. Мне хочется говорить что-то хорошее, оставаться самой собой, но не слишком, мне хочется, чтобы он считал меня красивой, чтобы он считал меня желанной, но от нас такие вещи не зависят. Мне сорок два года, а я впервые задумалась о том, как себя ведут, чтобы пробудить в мужчине желание. Наверняка есть какие-то способы, наверняка где-нибудь сказано, что надо сделать и в какую минуту, наверняка существует какой-нибудь научный труд об очаровании и женственности, где процесс обольщения расписан как по нотам, наверняка есть что-то, что действует на мужчину, как приворотное зелье. Никогда я не знала ничего такого, никогда ничего такого со мной не происходило, мои любовники были просто случайны, во всяком случае, сейчас мне так кажется. Мы знакомились, разговаривали, нравились друг другу, встречались снова и — оказывались в постели. А потом расставались, не сказав друг другу никаких особенных слов, потому что... потому что потому. Никогда у меня не было любви на одну ночь, секса ради секса, без всякой мысли, без всяких планов, хочу здесь и теперь, только дверь закроем, ну давай же, скорей, еще, еще, наплевать, если кто-то увидит...

После Мэтью я всегда бдительно следила за тем, чтобы не привязываться слишком сильно, чтобы не влюбляться, чтобы не мечтать и не питать надежд такого рода. Мне случалось больше года обходиться вообще без мужчины, а с некоторых пор больше всего меня печалит, что теперь уже хочется не секса как такового, а присутствия кого-то рядом. Такого ласкового присутствия — пусть он погладит меня по щеке, пока я пишу, или принесет иногда завтрак в постель... Он... Мужчина, которого я могла бы еще хотеть и с которым не стеснялась бы, разве что глаза бы прикрывала иногда... Грустно так думать, в моем возрасте не пристало быть слащаво-романтической, это еще, конечно, не трагедия, но глуповато. А уж о том, что все это старомодно, несовременно, и говорить нечего. Я ведь отгоняю от себя, пусть бессознательно, одну только мысль о счастливом случае. Я не позволяю себе мечтать о нежданной-негаданной любви, которая всю меня перевернет, о мужчине, с которым меня где-то познакомят, а потом мне его будет не хватать, неизвестно по какой причине. Мне сорок два года, и единственное, чему я в любви завидую, это безмятежность, тихое счастье, но я знаю, что такое приходит только после многих лет семейной жизни, после многих лет содружества, когда любовь уже не зависит от того, во что превратилось твое тело. А разве этого потребуешь от случайного любовника...

Ну и теперь, когда я обнаруживаю в себе невысказанное желание переспать с папой Алена, меня это немножко удивляет, но я не хочу об этом думать. Я хочу думать о нем, я хочу думать о себе, я хочу думать о нас вместе, сейчас. А еще я хочу верить, что мужчина может сказать обо мне так: красивая женщина, с которой мы познакомились на свадьбе.

Кортеж с шумом возвращается, раскрасневшиеся молодожены выходят из машины, гости торопятся к столам, накрытым для аперитива. Анна ищет меня глазами, а мне не надо ее искать, мне она видна отсюда, со стула, на котором я сижу близ алтаря, на опушке леса. Она улыбается сразу всем, все время, как будто улыбка приклеилась к ее лицу, но в этом нет ни малейшего напряжения. Интересно, сколько раз она мысленно проигрывала эту сцену до сегодняшнего дня, до 21 апреля? Так ли она представляла себе чувства, которые сейчас испытывает? Мне хотелось бы, чтобы она мне об этом рассказала. Чувствует ли она, как сердце колотится в груди? Удастся ли ей поймать хоть одну мысль из тех, что проносятся в голове? Превосходит ли это все ее ожидания или недотягивает до них?

Анна позволяет себя целовать, позволяет восхищаться собой, касаться своего платья, ее берут за руку, а она ищет меня, все-таки она ищет меня, я знаю этот ее взгляд, я знаю, что за ним стоит все возрастающая тревога, которая уже переходит в раздражение. И пусть доченька моя об этом раздражении помалкивает, а думает она тем не менее так: «Ну и куда она, черт возьми, подевалась опять? Что еще она там вытворяет?» Ив, стоящий рядом с молодыми, пожимает плечами в ответ на что-то, нашептанное моей дочкой ему на ухо, Анна вдруг оборачивается к лесу — и вот она я, спокойно сижу, положив руку на спинку стула, не курю, не пью, одна, потому что Роман, едва заслышав гудки машин на дороге, пошел встречать новобрачных. Анна пробирается ко мне сквозь толпу гостей. Я горжусь собой, я ничего не натворила, она сейчас похвалит меня за то, что так образцово себя вела, сидела тихо-спокойно, но не тут-то было...

— Что ты сделала со своей прической?!

Этот вопрос — как стена, на которую я внезапно налетела. Сухо отвечаю, что, пока не доказано противного, я имею право делать с собственными волосами что хочу. Она смотрит на меня удивленно, и, конечно, я на этом не останавливаюсь, мне надо оправдаться. Я мать и потому не могу позволить себе беспричинного гнева, не могу позволить себе бессмысленно раздражаться, нет, я должна найти какие-то разумные, логичные оправдания своему поступку, неопровержимые, как дважды два четыре. Говорю, что волосы были стянуты слишком туго и у меня начала болеть голова. Взгляд Анны становится чуть мягче, но я вижу, что она недовольна этой моей первой оплошностью. Она считает, что это только начало серии промахов, что распущенные волосы — подножка ее организованной не хуже военного парада свадьбе, здесь не должно быть ничего, выходящего за рамки, эти распущенные волосы открывают путь невесте каким осечкам и огрехам, из-за которых все может покатиться в тартарары, посыпаться, и день будет безнадежно испорчен. Я знаю, что она такая, что она терпеть не может неожиданностей, вообще всего незапланированного, потому и дала мне список — один-два-три-четыре, большое «А», маленькое «а», большое «Б», маленькое «б», все расписано по часам, каждое примечание обозначено звездочкой, рамки строго очерчены, чтобы ни разу, ни на минуту я не могла выскользнуть, сделать что-нибудь лишнее, бесполезное, непредусмотренное, эти большие «А» и «Б», эти цифры и звездочки не дадут мне вырваться. Анна почти строго приказывает мне пойти выпить со всеми, и я встаю, повинувшись собственному ребенку. Мне стыдно за себя, за свою бесхарактерность, за то, что меняю в последний момент правила собственной игры, лишь бы не идти на конфликт.

У накрытых столов застаю Ива за разговором с молодой женщиной, по-видимому

страшно заинтересованной профессией издателя. Коротко стриженная пепельная блондинка, в профиль напоминающая Джин Сиберг,^[27] — матовая кожа, красиво очерченные плечи, платье без бретелек, без всякой необходимости приподнимающее и без того упругую молодую грудь... Понимает ли она, какое это счастье — то, чем она сейчас обладает? Хорошо ли мы понимаем, насколько обманчива молодость, хорошо ли понимаем, что гладкая кожа без единой морщинки, сильное, не поддающееся усталости тело... что все это неминуемо начнет рыхлеть, увядать, обвисать, что вскоре и нам понадобятся всевозможные уловки, чтобы пускать пыль в глаза: утягивающее белье, лифчики на размер меньше, коронки и мосты, кремы против морщин, пилинг, визаж-макияж-татуаж, краска для волос, декоративная косметика — то, над чем мы смеялись и к чему относились с таким презрением?

Девушка слушает Ива, чуть склонив голову набок. Она ему явно нравится — вижу по тому, как он ею любит, как заглядывает ей в глаза. Господи, да он просто оторваться от нее не может, будто магнитом его тянет. Подхожу ближе и слышу, что он рассказывает байку про автора, который не знает французского языка. Она звонко хохочет, как бы невзначай кладет руку на лацкан его пиджака, чуть наклоняется, неприметно подвигается к нему. Наверное, вот так и дают мужчине понять, что его хотят, наверное, вот так и соблазняют... Так и надо делать, если собираешься поймать мужчину на крючок... Ив видит меня, слегка краснеет и уже открывает рот, но я не намерена мешать этому любовному дуэту, прикладываю палец к губам и ухожу на цыпочках, прихватив бокал шампанского. Музыканты переместились на террасу и играют старые песенки, чтобы добавить сепии в окраску этой религиозной церемонии: «My Funny Valentine»; «You Look Wonderful Tonight»; «Strangers in the Night»; «Like a Bridge over Troubled Water»; «Smoke Gets in Your Eyes»...^[28]

Небо розовеет, свет, меняясь, кое-где падает на долину, а лес от этого кажется гуще, ближе. Оглядываюсь. Никто на меня не смотрит, никто не обращает внимания. Роман что-то говорит Анне, держа руку на плече сына. Ив все еще занят своей девчушкой. Другие — кто парами, кто группами. Музыканты играют сосредоточенно, и это делает их чуть-чуть смешными: можно подумать, они выступают в Зальцбурге, такие у них серьезные лица, такие серьезные и выражающие такую забавную уверенность в собственном таланте.

Отрываюсь от стрекочущей толпы, от звона бокалов, от смеха и потихоньку двигаюсь к темной чаще. Склон, ведущий к замку, весь целиком порос лесом, и нижняя дорога этот лес огибает. Обхожу алтарь, как будто это и впрямь что-то священное, машинально проверяю, есть ли в сумке сигареты, и ступаю на лесную тропинку. Сначала деревья стоят так далеко одно от другого, что я могла бы пройти между ними, разведя руки. Здесь сыро, земля почти мокрая, иду дальше, убеждая себя, что не рискую заблудиться, что максимум того, что мне грозит, — оказаться у подножия холма, ну и что тут такого... Делаю еще несколько шагов и оборачиваюсь — теперь уже не видно ничего, кроме деревьев, одни деревья кругом. Елки с шершавой чешуйчатой корой, под ногами — хвоя, у подножий стволов — мох. Закуриваю под их защитой: никто не увидит, никто не заметит дым. Ели дарят мне убежище, какого у меня нет, какого у меня никогда не было, стена, щит, преграждающий путь шуму, пустым разговорам, по-английски есть для этого дивное определение — «small talk». Глубоко затягиваюсь, и с каждой затяжкой мне все печальнее. Я думаю об Анне, о ее муже, которого она любит и уверена, что вот так же будет любить вечно. Ловлю себя на том, что, восхищаясь тем, как бесстрашно она пошла на замужество, немножко завидую дочери. Я-то всегда себя сдерживала, всю жизнь только этим и занималась, а теперь вдруг, с Романом,

почувствовала себя другой. С ним я и была другой, была той, кого всю жизнь в себе душила, а она вдруг на мгновение пробудилась и страстно пожелала стать свободной. Той, что готова рисковать.

Когда окружающие меня люди узнают в конце концов, что у меня есть взрослая дочь, которую я вырастила совсем одна, вот эту вполне расцветшую женщину, они, наверное, восхищаются, удивленные смелостью «этой иностранки», пусть не очень сильно, но все-таки восхищаются. А ведь на самом деле с Анной я никогда не чувствовала, что проявляю смелость. Наоборот: она росла — и это было мне поддержкой и утешением, я знала, что ребенок — мой якорь, что ребенок не позволит мне уйти, что даже в самые тяжелые минуты одиночества и депрессии у меня не возникнет желания покончить со всем, уснуть и не проснуться. И потом, Анна — такая... она — как самая моя тайная мечта, как исполненное заветное желание. Я никогда не видела другого настолько же послушного, настолько же рано повзрослевшего ребенка. Насколько же ровного, насколько же сознающего свою ответственность по отношению к матери. Ко мне. Как будто она очень-очень рано поняла, что я родила ее, чтобы совпасть с миром, чтобы повзреть самой и стать взрослой в глазах других, чтобы обрести тень, где можно укрыться.

Кажется, что земля под моими ногами двигается, — наверное, из-за того, что ступаю по гниющим листьям. Они не могут тут высохнуть, тут слишком мало солнца, потому им только и остается, что стареть в сумерках, дряхлеть в сумерках, — и это немножко похоже на нас самих: они теряют соки, теряют жизненную силу, чтобы наконец, выдыхая сладковатый аромат, превратиться в бесформенную массу. Здесь, в этой сырости, в этом мире, где мертвые питают живых, я жалею, что больше не захотела рисковать. Не захотела остаться с мужчиной навсегда. Почему я думаю об этом сейчас, я, специалист по жизни в одиночестве, я, так мало чему доверяющая? Доверяющая только Анне, своим книгам и своему замкнутому пространству, где все знакомо до мелочей.

В глубине души я завидую женщинам, у которых на безымянном пальце два кольца: одно, с бриллиантом, свидетельствует о помолвке, другое — обручальное. Женщинам, которые показывают таким вот образом, что у них есть их собственный, накрепко привязанный к ним мужчина. Надо было мне это сделать. Надо было поселиться вместе с любовником, никуда от него не спешить, позволить обыденности поглотить себя, отпраиваться в магазины за окружной дорогой в поисках мебели, выбирать всякие мелочи и безделушки, которые мы расставили бы по полкам, а потом я бы смотрела на них и вспоминала, как мы покупали их вдвоем... Я могла бы научиться тому, как существовать с мужчиной в одном пространстве, я научилась бы удобно устраиваться рядом с этим телом, непохожим на мое, этим телом, часто сплетающимся с моим и утоляющим мою жажду. Я должна была бы научиться удерживать мужчину, делать семейную жизнь для него приемлемой, пробуждать в нем желание быть со мной, оставаться со мной, не встречать его с хмурым лицом, не встречать его молчанием, а иногда и грубостью... Я могла бы пойти на этот риск — такой, в общем-то, заурядный для большинства людей и так ужасающий меня...

Ужасающий. Потому что, слишком хорошо себя зная, я понимаю, что постоянно ждала бы, когда это кончится. Ждала бы минуты, когда все пошатнется и любовь сбежит от меня, вытечет, как из дырявой бочки. Ждала бы дня, когда спокойно пройду мимо того, кого так любила, и мне не захочется провести рукой по его волосам, прикоснуться к его плечу, поцеловать — и не потому, что он станет мне противен, а только потому, что я привыкну к его присутствию, перестану его замечать. Я все время ждала бы прихода того смутного,

неопределенного раздражения, которое кажется беспричинным. Мои чувства смешались бы, превратившись в одну серую массу, в какой-то переваренный суп, из них ушла бы вся острота, я больше не ощущала бы, что его не хватает, не радовалась бы, увидев его снова, не закрывала бы глаза, когда он входит в меня, потому что это сделалось бы привычным, обыденным, потому что ничего не осталось бы от дивного чувства нетерпения, когда два тела тянутся друг к другу, соприкасаются... Вялость чувств — вот чего я боюсь, и я уверена: только и именно тем, что жду этой вялости, только и именно тем, что подстерегаю ее появление, я навлеку это на себя, и любовь обернется братскими отношениями, и постель будет казаться инцестом.

Не знаю, сколько времени я провела здесь, в тени деревьев, полная до краев лесными запахами, неподвижная, такая неподвижная, что стала безразлична насекомым. Черви выползли из-под мертвых листьев, муравьи снова тронулись в путь, я слышала шелесты, шорохи, я стала частью их мира, они ко мне привыкли. Мне казалось, что не хватит сил вернуться туда, слышать смех, видеть, как они едят и жестикулируют, ну почему мне это так трудно? И все-таки я сошла с места, двинулась в ту сторону, потому что стало немножко страшно: а вдруг меня ищут, мне нельзя портить такой день. Каблуки увязали в мягкой земле, в мягком слое опавших листьев, словно меня пытались тут удержать, но я все-таки шла.

Вся зыбкость моей жизни собралась здесь, в этом мгновении, когда все мое тело просилось остаться в тени, а я не захотела его слушать, не сумела его послушаться. Я запикиваю, словно в корзину с грязным бельем, которому незачем быть на виду, свои сожаления, свои угрызения, свои желания, я уминаю их, уминаю, уминаю, я набиваю эту корзину плотнее некуда, я запикиваю туда все, что есть, в том числе и свой пол, я смыкаю веки, я затыкаю уши, я сжимаю губы, я захлопываю крышку.

В семь мы садимся за стол в парадном зале на первом этаже. Тут кругом украшения из оранжевой папиросной бумаги, а на столах — обернутые фольгой горшочки с пылающими маками и застенчивыми гипсофилами. Тарелки — белые, сверкающие, такие чистые, что скрипят, если провести пальцем. Черноволосая Анна в белом платье — точь-в-точь итальянская мадонна. Иногда она искоса на меня поглядывает, наблюдает за мной, и я стараюсь держаться прямо, улыбаться, бодрюсь изо всех сил. Думаю, никто не заметил моего побега в лес. А может, мне только кажется, что я надолго исчезала отсюда, может, меня не было всего лишь несколько минут и только в моем сознании отсутствие растянулось на часы.

Анна подходит, приобнимает меня за талию, шепчет на ухо: «Все в порядке, мама?» Ее пальцы касаются меня, я чувствую ее тело рядом, от нее исходит тепло, мягкая ткань ее платья ласкает мою руку, ее аромат окутывает меня, как я люблю ее в эту минуту, мою дочку, как я ее люблю.

Когда она была у меня в животе, я все думала, а как я буду ее любить. Смогу ли любить ее так, как ей бы хотелось? Сумею ли прислушиваться к ней так, чтобы измениться, если ей не понравится, как я ее люблю? Если моя любовь окажется неуклюжей, это ее отдалит от меня или она поймет, что любовь — не только то, как ее выражают? Мы еще минутку стоим рядом, и этой минутки хватает, чтобы ей сказать, как я ее люблю. Она удивлена, я чувствую, как она вздрагивает, напрягается, но прижимается ко мне еще сильнее. Я не из тех родителей, которые постоянно повторяют детям «я тебя люблю», может быть, потому, что сама в детстве таких слов не слышала, а может быть, мне казалось, что слова эти говорят слишком часто и оттого они перестали что-нибудь значить. Наверное, я ошибалась. Я думала, что каждый прожитый вместе день жизни, все мелочи, из которых каждый день складывается, все поступки, все прощения, все компромиссы — лучшие доказательства любви и вполне искупают отсутствие этих трех слов...

После долгой паузы Анна отвечает: «И я тебя люблю, мама», и сердце мое лопається, как шарик, наполненный водой, и ничем, ничем уже не остановить потока. Все напряжение этого дня, когда я должна была постоянно следить за собой, все эти нахлынувшие на меня воспоминания, и этот человек, который появился так поздно, так поздно, и дочка, с которой я расстаюсь... У меня, разумеется, нет платка, я хлюпаю носом, опустив голову, и на моей груди расплываются два темных пятна. Мне стыдно, я уверена, что все на меня смотрят. Анна тянется к столу, хватая с первой попавшейся тарелки колом стоящую от крахмала салфетку, с хрустом ее разворачивает и дает мне.

— Да это же салфетка!

— Наплевать!

Мне до того нравится эта новая, легкомысленная Анна, что я начинаю смеяться сквозь слезы. Вообще-то жест вполне безобидный — взять со стола салфетку, если она понадобилась, — но я знаю, как важно для Анны, чтобы каждая вещь была на своем месте, знаю, какое огромное значение она придавала малейшей детали той огромной конструкции, которую так старательно рисовала, чертила, высчитывала, планировала. Сложенные в виде митры салфетки, стоящие точно в центре тарелок, — сколько тарелок, столько и салфеток, выверенное до миллиметра расстояние между тарелками. Будто бы прочитав мои мысли,

Анна говорит этим своим спокойным, хорошо поставленным голосом:

— Как видишь, мама, не такие уж мы с тобой и разные.

Эта фраза... я буду слышать ее всю свою жизнь. Она будет, как нынче, синонимом сообщничества, а иногда, боюсь, и знаком того, что я не сумела распознать в Анне свою родную дочь, убежденная, будто я прямая ее противоположность. Ну и сама, всю сознательную жизнь воевавшая с любыми обобщениями, закипавшая, стоило кому-то обратить внимание на цвет кожи или тип волос, сама, сама, удивительно простым и очевидным образом, отдалила от себя дочку. Потому что у нее светлая кожа, потому что она любит цифры и ежедневники, потому что для нее главное — порядок во всем, потому что она хочет выйти замуж и жить как положено замужней женщине, потому что ей не нравится то, без чего не могу я, без расплывчатости и недоговоренностей. Наверное, я забыла, что она — это тайная часть меня самой, я — несбывшаяся, я — какой была бы, если бы осталась с родителями в этой солнечной, в этой тесной для меня стране, в этой стране красоты и расизма, в этой стране, где работа — добродетель, а ложь свидетельствует, что ты умеешь жить. Может быть, если бы я не прочитала столько книг, если бы не познакомилась с Мэтью, не узнала магии слов, приходящих ниоткуда, может быть, если бы я не стала сознательно и смело исследовать ту часть тени, ту часть пустоты, которую ношу в себе, может быть, я бы стала Анной.

Сколько времени мы отдаем тому, чтобы осложнить свою жизнь? Сколько времени мы тратим на светскую жизнь, на свой имидж, на то, чтобы казаться, и на то, чтобы схитрить, увильнуть, отвертеться, забывая о тех, кто нам дорог? Сколько мы разрабатываем теорий равенства, терпимости и сколько раз при этом доказываем — у себя дома, сняв маску, — что мы самые обыкновенные расисты?

Вытерев слезы, я торжественно заявляю Анне, что счастлива сидеть за столом для почетных гостей. Она улыбается, она меня поддразнивает, говорит, что я люблю красивые слова и пышные эпитеты. Молодые, их родители, свидетели на самом деле сидят за единственным длинным столом лицом к другим гостям, а те — за круглыми столиками. У нас — слева направо: Ив, покрасневшийся то ли от шампанского, то ли оттого, что сердце уже забило неровно из-за той девицы; Эвелина, мама Алена, в своей неизменной шляпе; Эрик, свидетель Алена, который вез нас на машине; Анна, Алэн, потом я, мама новобрачной, и — рядом — Роман, папа свежееиспеченного мужа.

Да, он уже тут, похоже, он изучает под столом свои руки. Интересно, а как я сейчас выгляжу? Роман привстает, увидев меня. Такая старинная вежливость, и я уже начинаю таять от нее. Ну кто, кто сейчас так делает? Как было бы чудесно, если бы мужчина, который ведет вас куда-то, приподнимался всякий раз, когда вы выходите или садитесь за стол... Не такие ли мелочи делают человека в ваших глазах чуть-чуть лучше других? Он говорит: «Вы плакали». Я улыбаюсь куда печальнее, чем хотелось бы, он берет меня под локоть и помогает сесть. Там, перед нами, в зале, гости суетятся в поисках своего места, передвигают стулья, громко смеются, кого-то окликают, и я вдруг понимаю, что сидим только мы двое — Роман и я. Мы сидим и молчим, и я думаю, что первый раз в жизни молчу с человеком, которого едва знаю. И в этом молчании, в котором мы живем, осознавая, какой гвалт стоит кругом, защищенные неведомо какой волшебной силой, нам хорошо, так хорошо.

Я поворачиваюсь к нему, улыбаюсь, на мгновение он тонет взглядом в моих волосах, где-то между левым ухом и плечом, эта черная завеса мешает ему видеть то, что за моим плечом. Думает ли он о том, что было недавно, думает ли о том, что будет дальше, хочет ли

меня поцеловать, нет, не просто коснуться губ губами, словно новичок в этом деле, а вобрать мой рот, вобрать целиком, как спелую ягоду, оставить мне свою слюну?

Вопреки всем ожиданиям, я заговариваю первая:

— Ален мне сказал, что вы журналист...

— Он так сказал? Хм... Смешные представления о нас у наших детей, правда? Да, я был журналистом, когда Ален был маленький. А сейчас живу в Африке.

Сердце дрогнуло. Я подумала и на мгновение, на крохотную минутку поверила, что он живет в Мали, у него дом в Бамако, в городе, куда двадцать три года назад Мэтью уехал, не обернувшись. Я придумала это для себя, словно от этого сегодняшней день осветился бы, все в моей жизни внезапно встало бы на место, она сложилась бы, подобно гигантскому пазлу, и я наконец смогла бы посмотреть на нее без страха.

Нет, нет и нет. Роман живет в Кении, в Западной Африке, может быть, у подножия Килиманджаро, далеко от красной пыли и реки Нигер, протекающей через Бамако, работает в какой-то международной организации.

— А я работаю в женском журнале.

— Да? Анна мне сказала, что вы писательница.

Я расхохоталась так, словно это была удачная шутка. Пока ведь мне не приходилось выбирать, какое из двух занятий — моя профессия. А какой смысл я придаю этому слову — «профессия»? Одна работа необходима для того, чтобы у меня был какой-то распорядок, чтобы, потрудившись, я могла отдохнуть, чтобы у меня были обязанности, чтобы я научилась наконец вести себя на людях, чтобы знала, что делается в мире. Другая — для того, чтобы ускользнуть, высвободиться, жить своей жизнью, одной своей — и многими жизнями.

Мне часто хочется уйти из редакции, особенно с тех пор, как Анне не нужен мой заработок, но я думаю, что в писательском ремесле — во всяком случае, у меня это так — безумие всегда где-то рядом. Однажды я была особенно близка к нему. Это случилось лет десять назад или около того. Анна впервые уехала от меня на каникулы, уехала совсем одна в Бретань, погостить у Ива и Каролины. А я сняла дом в Вассербурге, в Эльзасе, в департаменте Верхний Рейн. Увидела фотографию в газете — и сняла. Дом был с красной крышей, и я вспомнила Кап-Малере, я особенно любила это место на Маврикии: маленький пляж, буквально горсточка песка, колкая высохшая трава — все то, что люди не любят, потому что не сядешь, церковь с красной крышей, такая четкая на фоне синего моря, а далеко-далеко, у горизонта, черная скала, остров-камень, Куэн-де-Мир. Несколько казуарин^[29] почти у моря, но тут не полежишь в теничке. На Кап-Малере нужно стоять лицом к морю, отчасти из уважения к нему. Ну, в общем, посмотрела на дом — и вспомнила все это, хотя, конечно, здесь все было не совсем так. Здесь красная крыша на фоне зеленого холма, а ворота выкрашены в светло-голубой цвет. Я подумала, что проведу в Вассербурге две тихие недели, буду по утрам писать, потом гулять, потом отдыхать, потом возвращаться к столу, писать, читать, писать, жить этим, этим жить...

Так я и делала в первые дни: просыпалась рано и писала до одиннадцати часов. Я устраивалась в маленькой гостиной, где мебель, как мне казалось, подпирала стены и потолок, держа на себе весь дом. Если я что-то переставляла — чашку, скажем, или стул, — то замирала на минутку, прислушиваясь к малейшему потрескиванию, почти ожидая, что следом за ним дом задрожит, а потом медленно — филенка за филенкой, кирпичик за кирпичиком — развалится, как постройка из костяшек домино. В одиннадцать я выходила во двор завтракать — сидя спиной к холму, к вишневному дереву, к овцам и к чаще леса,

рассматривая долину, где ниже угадывалась речушка — по вечерам было слышно журчание воды. Потом я отправлялась на прогулку, часов до двух-трех, шла в лес, там было прохладно, я была одна, но ничего не боялась. Как-то я проходила через поле маков и в эту минуту необычайно остро почувствовала, как не хватает рядом Анны.

Прогулки мои получались очень долгими — не потому, что я забиралась куда-то далеко, а потому, что никуда не торопилась, часто останавливалась, мечтала, говорила сама с собой. Возвращалась вся потная, быстренько переодевалась в купальник и бросалась мыться под душем во дворе. Около дома было построено из грубых шершавых камней нечто вроде купальни, и я там в первый же день стала все драить как ненормальная. Из крана текла только холодная вода, у меня от нее становилась гусиная кожа по всему телу, зато уж спала после такого купания — как убитая. Около пяти просыпалась и снова садилась писать, а поработав, читала, ела, слушала радио. Вечером засыпала — таким глубоким, таким чудесным сном, какой бывает, когда ты совершенно свободен и когда чувствуешь, что потрудился на славу и что день прошел не напрасно.

Поначалу этот безупречный ритм вызывал у меня эйфорию, я ощущала, как оживаю в тишине. А четверо суток спустя проснулась от того, что мне послышался шум. Открыла дверь — и испугалась ночи: черной, непроницаемой, беззвездной, безлунной, укутанной тишиной, как толстым слоем ваты. Назавтра я не писала, я обшаривала шкафы, ящики, чемоданы. Нашла старую одежду — примерила. Нашла старые фотографии — разложила их перед собой и стала рассматривать людей, которые жили и бывали в этом доме. Почему они его бросили, почему уехали из этой прелестной деревушки?

Я часами сидела взаперти, ставни не давали дневному свету проникнуть в комнату, я потеряла счет времени и обо всем забыла. Забыла, что надо звонить Иву и Каролине, забыла, зачем сюда приехала. Я шла на голоса, которые слышала в доме, снова и снова шарила в ящиках, целые часы проводила, изучая прожившую много десятков лет посуду... и в конце концов поняла, как мало останется после меня самой: несколько книжек, пыль, прах, едва ли — воспоминания. Я вглядывалась в лицо женщины на снимке, смотрела ей в глаза, я забывала поесть, я писала не роман, который писала в это время, а что-то другое, я забывала, забывалась... Вспоминаю сейчас, как стояла на берегу реки, другой, пониже, той, что стекала с гор, ледяной, темной, как ступила в нее одной ногой, сразу же погрузившейся до икры в тинистое ложе, потом другой; вспоминаю, что стояла так долго, до тех пор, пока не перестала чувствовать ноги, бедра, живот, грудь, плечи, себя, что бы то ни было. Только рот, втягивавший в себя холод этой тревожной воды, только глаза чуть повыше быстрого потока. Я делала это методично, аккуратно, я продвигалась вперед и вперед, мне хотелось понять, как далеко я могу зайти. Я подумала о Вирджинии Вульф, о том, как она утопилась в Оусе, набив карманы камнями.^[30] «Дорогой мой, дорогой, — написала она тогда Леонарду, — я уверена, что снова схожу с ума».

И вот именно в это мгновение я вспомнила, что у меня есть дочь тринадцати лет, и, стало быть, я не имею права играть со своей жизнью и своими призраками. В тот же вечер я уехала, и мне понадобился добрый месяц, чтобы прийти в себя. Я потеряла шесть кило, я не написала ничего путного — сплошные помарки и обрывки фраз, мне казалось, что я лишилась кожи, что каждая моя клетка ободрана, сочится кровью, любое прикосновение причиняло мне адские муки. Доктор обнаружил аритмию и шумы в сердце. Лекарства, отдых, регулярное наблюдение, диета — он прописал мне все, что только можно. Но я знала, что дело не в болезни — дело в том доме, населенном скрипами и следами умерших людей,

в доме, где призраки, живущие во мне самой, встретились со своими собратьями, где я чуть не сошла с ума. Вот. Именно поэтому всякий раз, как мне приходит в голову бросить работу корректора, я вспоминаю тот отпуск. Вспоминаю беспричинный смех, мною овладевавший, безнадежную тьму, меня окружавшую, и ледяную реку, в которую я погружалась.

Роман смотрит на меня.

— Анна так сказала? Ну да, я и пишу тоже. Но работаю корректором в женском журнале.

— А пишете — что? Романы?

— Да.

Он не спрашивает, как делают многие, сколько романов я уже написала, — можно подумать, самореализация и успех зависят от количества написанного. Он не спрашивает, хорошо ли они продаются, он не спрашивает, о чем я пишу, потому что знает: я не смогу сказать об этом одной фразой, как назвала бы тему диссертации. Он не спрашивает, есть ли у меня литературные премии, показывают ли меня по телевизору, он не спрашивает даже, какой фамилией я подписываю свои книги. Он не задает ни одного вопроса из тех, на которые я научилась отвечать с вежливой улыбкой. Папа Алена ни о чем не спрашивает больше, он просто улыбается во весь рот, я вижу его зубы — чуть желтоватые от никотина, и моя симпатия к нему возрастает. И тогда спрашиваю я — спрашиваю, не хочет ли он выкурить сигаретку, спрашиваю шепотом, он озирается, видит, что все стоят, никто не сел к столу, похоже, они ждут какого-то сигнала, может быть, гонга, решительно кладет салфетку на стол, подхватывает меня под руку, и мы, так и оставшись под руку, быстренько исчезаем — подальше от этой какофонии. Кажется, никто не обратил на нас внимания, я успела только глянуть в сторону Анны, у которой вроде бы какие-то проблемы с рассадкой гостей, потому что брови у нее нахмурены, пальцами она трет лоб, и понятно, что решение головоломки потребует времени.

Мы выходим. Ночь не спешит наступать, в воздухе висит розоватый туман. Мы остаемся возле замка, он дает мне прикурить и не морщится, когда я протягиваю ему пачку своих длинных ментоловых сигарет, почти без никотина, пижонских, как говорит Ив, и мы оба молча вдыхаем белый дым. И тут он говорит, что завтра после обеда у него самолет.

— А ночуете здесь?

— В смысле — в замке? Нет. Алэн снял для меня комнату для гостей в деревне чуть пониже замка. А вы? Возвращаетесь в Лион?

— Нет, я-то ночью здесь. У меня чудесная комната в левой башне. Оттуда видны лес и долина.

— И олени по вечерам?

— Может, и олени...

Он мечтательно улыбается. Его сигарета погасла, он держит фильтр большим и указательным пальцами, смотрит вперед — на пустой алтарь, на сдвинутые кое-как стулья, на бегающих с пронзительными криками детей, на лес и огни долины. Мне так хорошо здесь стоять, прислонившись к стене, так приятно прижиматься голой спиной к холодному камню, и мне хочется, чтобы это длилось и длилось, мне хочется, чтобы мы были вдвоем, только вдвоем, и больше ничего бы не было, и у меня хватило бы смелости взять его за руку, повести за собой в левую башню, откуда видны лес, и долина, и, может быть, олени по вечерам. Но нам надо возвращаться, нам надо производить хорошее впечатление на собравшихся, идеальная мама, идеальный папа бок о бок.

Бесшумно усаживаемся на те же места. Анна идет к нам, бросает на ходу: «А-а, вы уже познакомились!» — потом тоже садится, все начинают звенеть ложечками по бокалам с шампанским, и Ив поднимается, чтобы произнести речь. Ему подают микрофон, он отказывается, ему хватит голоса, он не читает по бумажке, но бумажка все-таки зажата в кулаке. Воцаряется странное молчание: это не ее отец; это ее отец; это человек, все еще влюбленный в свою жену, которая умерла пять лет назад; это человек, который еще хочет нравиться; это человек, у которого никогда не было детей и который сейчас выдает замуж дочку писательницы, чьи книжки публикует в числе прочих. Он начинает так:

— Милая Анна, когда мы с тобой познакомились, ты обожала свои красные башмачки...

Это правда. Когда Ив впервые увидел Анну, на ней были красные башмачки, она надевала их с белыми гольфами и любила садиться на высокие диваны, чтобы болтать ногами и чтобы все замечали ее красные башмачки. Ив тогда сказал ей: «О, какие у вас башмачки, барышня!» — и Анна покраснела. Она посмотрела на меня, застенялась и покраснела.

Я растрогана — как хорошо, что Ив это помнит, — а он уже рассказывает о каникулах, которые Анна у них провела, он говорит «у нас с Каролиной» так, будто Каролина еще жива, будто она сейчас с нами. Он рассказывает о том, как Каролина учила их печь блины, о высшем пилотаже — подбросить блин в воздух и поймать сковородкой на лету. Он жестом показывает, как ловили блины сковородкой, оп-оп, и все смеются. Многие блины ударили лицом в грязь, говорит он, и все опять смеются. А теперь Ив говорит о нас троих — об Анне, обо мне и о себе. Он говорит, что мы одна семья и связь между нами такая, что словами не опишешь, и читает по-английски стихи, дивные стихи, в первой строчке которых — внезапный ливень, и надо бежать домой, и поскорее сушить одежду, а потом — аллегория насчет того, что, когда мы пытаемся расстаться, то не можем, нас часто держат узы, которых мы не ковали, — подобно белью, которое скручивают и обматывают вокруг веревки дождь и ветер.

Он умолкает, он волнуется, и я знаю, как ему сейчас недостает Каролины. Анна посылает ему воздушный поцелуй, он поднимает бокал, откашливается и произносит тост:

— Выпьем за Анну, за Алена и за узы, которые переживут нас самих.

Следующая речь — Эрика, и все время слышен смех, потому что Эрик рассказывает о шалостях маленького Алена, о выходках, которые он позволял себе подростком, о его первых влюбленностях и так далее и тому подобное — дальше в лес, больше дров. Я начинаю тихо звереть — не потому что он об этом говорит, а потому что он так говорит после Ива и портит все. Сидящий рядом Роман шепчет: «Ну и мудила!» — и мы хохочем как ненормальные. Я — прячась в салфетку, он — наклонив голову, только плечи трясутся. Потом он кладет руку мне на колено, устраивает свою большую ладонь на моей костлявой коленке, и я перестаю смеяться, сразу — будто кран завернули. Моя рука опускается, ложится на его руку, насколько его рука больше, я ищу пальцами промежутки между его пальцами, он сдвигает свои, он сжимает их, сильно, сильно. Речь никак не кончается. Эрик и толпа гостей превращаются в туман, нет больше зала — только этот туман. Роман переворачивает руку, я кладу свою сверху, их будто магнитом притягивает одну к другой, будто магнитом, и вот уже мы, как все влюбленные на свете, сидим, сжимая под столом руки...

Что со мной? Мне вдруг стало девятнадцать лет, я забыла о годах, об одиночестве, о правилах, которые сама себе установила для этого дня, о том, как я должна выглядеть, о том, что я мать, и о том, что я выдаю замуж свою девочку. Я держу за руку едва знакомого мужчину, спроси меня, каков он собой, не отвечу, не так уж хорошо его и рассмотрела, я глажу это чудное место между его большим и указательным пальцами, я представляю, как он меня обнимет, сожмет так крепко, что я задохнусь, я представляю себе, я представляю себе... я мечтаю о вещах, о которых не должна думать, уж во всяком случае — сегодня. Мое сердце несется как сумасшедшее, интересно, он слышит?

Приносят закуски, но мы до последней минуты не разжимаем рук. Потом медленно, потихоньку расцепляем пальцы, мы касаемся друг друга, когда рука движется к столу, и всякий раз, как можно положить вилку, руки возвращаются на место, у них своя жизнь, они отравлены одна другой. Он гладит мою ладонь двумя пальцами, проводит по линии жизни, по линии сердца, ласкает запястье, поднимается вверх, но совсем чуть-чуть, я вцепляюсь в его руку, медленно ползущую к моему локтю, стискиваю крепко-крепко, я его не отдам. Смех, звяканье приборов о тарелки, детский крик, шутки, музыка — все это продолжается вокруг нас, без нас. Я не знаю, сколько времени прошло, мы с Романом заключены в пузырь, где все не в счет, кроме наших рук и их разговора.

Вдруг гости встают, вальс новобрачных, это в соседнем зале, музыканты играют песенку из фильма «Жюль и Джим», про водоворот жизни. Роман помогает мне встать, немножко отстраняется, но через пару шагов, в узком пространстве между двумя столиками, обнимает за талию. Мы, пока еще каждый сам по себе, окунаемся в водоворот жизни, я кладу руку Роману на плечо, кого мне благодарить за все это, за эту внезапно вернувшуюся юность, за эту энергию, kloкочущую во мне? Моя грудь прижимается к его груди, его член — к моему пупку, мы едва двигаемся, делаем мелкие шажки, другие смотрят, аплодируют настоящим молодоженам. Я чувствую себя с ним так, как будто знала его раньше, как будто мне всегда ужасно его недоставало, и я его сжимаю в объятиях сначала легонько, чтобы просто убедиться: это правда, а потом сильнее, сильнее, чтобы он не мог уйти. Никогда. Мы с ним оказались за одним столом, и это было уже так давно...

Он целует меня в пылающий лоб, он зарывается лицом в мои волосы, его губы приближаются к моим, я не боюсь, он не боится, мы не боимся, что нас увидят, папу и маму, не так и не с теми, с кем полагалось бы. У него совершенно губительный для меня голос, от его бледного лица я схожу с ума, как никогда раньше, его губы у моих, так близко, так близко. Глаза у меня закрываются, словно подступает дрема, подступает, обволакивает, он целует меня. И я его целую тихо, нежно, потом все сильнее, его язык свивается с моим, его руки тонут в моих волосах, он сжимает мне голову, я обнимаю его шею, мой живот плавится, у него живот твердый, мы сплелись, мы сплелись.

Когда музыка умолкает, мы отрываемся друг от друга, у меня упоительно кружится голова, я беру себя в руки, гости возвращаются, к нам идут Анна и Аллен, она впереди, он сзади, она мне улыбается, я посылаю ей воздушный поцелуй, как делала, когда она была маленькая, она притворяется, будто следит за его полетом, пытается поймать, хоп, поймала, поцелуй в ее правой руке. Она прижимает мой поцелуй к сердцу, и я думаю, какой у нее сегодня чудесный день. Она играет со мной, она такая легкая, ей весело.

— Вы близки с Анной?

— Она моя единственная дочь.

Я поворачиваюсь к Роману. Интересно, покраснели у меня губы от поцелуя, а глаза сверкают, интересно, похоже, что мне девятнадцать и я целовалась с мальчиком взасос, с мальчиком, которого едва знаю, интересно, отражается ли на моем лице эта смесь удовольствия, любопытства, желания и страха?

— Но вы не близки?

— Иногда близки. Здесь и сейчас — да. Я послала ей воздушный поцелуй, так, как делала, когда она была маленькая, бог знает сколько лет назад, а она еще помнит... Но...

— Но — что?

— Ничего. Да, ничего. Я ее люблю, она — все, что у меня есть. Но иногда я на нее за это злюсь.

Не успев сказать, уже жалею, что сказала. Недостойная мать. Прикрываю рукой губы, но поздно, он слышал эти жестокие слова.

— Понимаю. Ален у меня тоже единственный сын, нам-то легко любить детей, а им нас — не уверен. Они так сильно на нас обижаются. Ален упрекает меня в том, что я всегда далеко, но я никогда не рискую жизнью, стараюсь быть осторожным, дважды подумаю, прежде чем сделать что-то, что может оказаться опасным, мне хотелось бы идти дальше, гораздо дальше, но стоит подумать о нем, и я говорю себе, что я ради него обязан...

— Обязан ради него жить?

— Да.

Вдруг раздается голос Эвелины: «Роман! Роман!» Он улыбается и идет на зов.

За окнами стемнело, день Анны приближается к концу, почти закончился. Я украдкой прихватываю салфетку, лежащую у его тарелки, складываю, раскладываю, укладываю себе на колени. Сейчас подадут десерт, и я не трогаюсь с места, похоже, мне уже не хватает Романа, а если дело не в нем — откуда тогда эта внезапно свалившаяся на меня грусть, эти сомнения по поводу того, чего я на самом деле жду, — только хотеть, любить, переспать... Нужно время, чтобы разобраться, но у меня нет этого времени.

Ив садится рядом, обнимает меня за плечи, протягивает свой кусок торта, он всегда так делает, Ив, он всегда отдает мне сладкое. Подходит Анна, тоже садится. Скольких людей нет сейчас с нами. Мэтью, Каролина, мои родители; сколько между нами призраков, отдаляющих нас друг от друга и сближающих нас. Что от этого дня останется в памяти через несколько лет? Что Анна расскажет об этом дне своим детям? Подумает ли она о тех, кого не было рядом, и о тех, кто был, о той минуте, немного раньше, когда все еще было возможно, когда она еще могла все это остановить?

О людях, которые глаз с нее не сводили, когда она шла об руку с Ивом к алтарю, затянутому светлой тканью? О воспоминаниях, которые проносились у нее в голове в те минуты, наверняка проносились? О чем думаешь в такие дни? Что хочешь удержать, поместить под стеклянный колпак, чтобы долго потом любоваться? Цвет, взрыв смеха, дыхание поцелуя, влажность руки, которая сжимает твою, голубизну неба, шелест листьев под ветром?

Мы молчим, молчим, как после хорошего фильма с долгим чудным послевкусием, когда кадры еще пляшут в твоей голове и никто не решается спросить: «Ну и что ты об этом думаешь?» — потому что, как только спросят, фильм сразу уйдет в прошлое, станет прошлым, потому что чувства тогда придется облекать в слова.

Несмотря на полный беспорядок в зале, где стоят столы, несмотря на детей, которые фехтуют вилками, как шпагами, выкрикивая «давай, давай, давай», несмотря на вон ту старуху, задремавшую в уголке, уронив голову так низко, что кажется, будто голова лежит на мягком ее животе, несмотря на поздний час, несмотря на то, что от дня остается все меньше и меньше и тут уже ничего не поделаешь, несмотря на все это, свадьба Анны — еще не в прошлом. Дочка оглядывает разоренный зал, с нежностью смотрит на детей, на старуху, на официанта, который уже начинает убирать посуду и явно жаждет, чтобы мы поскорее ушли, на маки, склонившие головки, словно в подражание старухе, и во взгляде Анны какое-то счастливое облегчение. Думает, что это был прекрасный день? Думает, что с этого дня начинается прекрасная жизнь? Дыхание Ива становится приглушенным, ровным, и он дремлет, хотя глаза открыты. Ив тоже ночует здесь, я знаю, что в замке десять спален. Дотрагиваюсь до его руки и спрашиваю, не хочет ли он пойти к себе, лечь? Он выпрямляется и протестует:

— Нет, ну конечно, нет, я еще могу ночь не спать, я еще не так стар!

Прибегает Ален, издали тянет руку к моей дочке, и она встает, ни слова нам не сказав, даже не взглянув на нас. Вот оно как. И теперь так будет всегда. Теперь она будет с ним, а я — на втором месте. Но сколько себя ни убеждай, что мы делаем детей для того, чтобы они взлетели на собственных крыльях и были счастливы, ничего не получится: мы только и хотим, что удержать их при себе, быть для них единственными, жить с неперерезанной пуповиной, и пусть они постоянно в нас нуждаются. А если честно, Анна давно уже во мне не нуждается, ей для этого не надо было ждать Алена, не надо было ждать замужества, она уже сто лет как все вывернула наизнанку.

В другом зале диджей в надвинутой до самых глаз шапочке, матросской куртке и кроссовках усиливает звук. Может, он почувствовал, что все тут уже выдыхаются. Ив тащит меня за собой, я делаю несколько шагов. «A little bit of Monica in my life... A little bit of Sandra in the sun»,^[31] — говорится в песенке. Анна хохочет, в точности как когда была маленькая и Матильда танцевала с ней фламенко. Ее смешат танцы, ее всегда смешали танцы. Вскоре я говорю Анне, что пошла спать.

— Ладно, а завтра все вместе позавтракаем, да?

— Угу. Какой был прекрасный день, солнышко.

Анна дарит мне улыбку, к нам, танцую, приближается какая-то женщина и говорит, что мы с ней похожи как две капли воды. Это неправда, но господи, до чего же приятно это слышать! Анна обнимает меня крепко-крепко и благодарит. Я хочу сказать, что, в общем-то, ничего такого не сделала, но вдруг она меня за то и благодарит, что ничего такого... Не курила за столом, не мечтала одна в уголке, не совершила ни одной оплошности, не отклонилась от программы.

Ив танцует с той самой девицей. Он двигается не в такт, он немного неуклюжий. Эвелина оживленно беседует с какими-то двумя дамами, я ищу путь между столиками, я довольна собой, я сдала экзамен, я ничего не сделала опрометчивого, я не сказала ничего такого, что могло бы задеть мою дочь. И теперь имею право на сигаретку, — конечно, не в замке, снаружи. Кто-то тут уже курит. Роман. Он сидит на ступеньках и курит. Поворачивается ко мне и говорит: «Как там, есть движение?» Я киваю и сажусь рядом. Синий вечер, завитки дыма, огоньки наших сигарет.

— Так на чем мы остановились, Соня?

Больше ничего нет, только эти слова.

Я не отвечаю, я докуриваю сигарету, жду, пока он докурит, беру его за руку. Я еще не очень хорошо себе представляю, что сейчас сделаю, знаю только, что не хочу, чтобы свадьба Анны закончилась так, как мне представлялось утром в спальне, — я одна в своей постели, одна и немножко пьяная.

Мы входим в замок. Музыка бьет по ушам, они включили мерцающий свет, дети перебегают из одного зала в другой, не обращая на нас никакого внимания. Я все еще держу Романа за руку. Я молюсь: только бы он ничего не сказал, только бы ни о чем не спросил, потому что от этого сразу треснул бы хрупкий ледок моей беспечности. Я не ускоряю шаг, когда мы проходим по залу, где все танцуют, не то что не бегу. Нас могут увидеть — меня, маму невесты, которая ведет за руку папу жениха. Все может случиться, и, наверное, именно поэтому я ничего не боюсь. Я думаю: если уж что-то нас и остановит, то пускай здесь. И сейчас.

Он тоже спокойно идет за мной по залу, где все танцуют, в мерцании светящихся шаров они похожи на роботов, у них резкие движения, никакой гибкости, плавности. Я ступаю на лестницу, Роман по-прежнему идет за мной, я на него не смотрю, ни разу даже взгляда через плечо не бросила, просто чувствую его руку в своей и иду — твердо, мы ни о чем не жалеем, мы ни в чем не сомневаемся. И я думаю, что мне надо все накрепко запомнить. Собрать воспоминания для тех дней, когда буду одна, собрать их, как красивые камешки. Я так редко это делала. Мэтью.

Я вспоминаю родинки на светлой коже, грустную улыбку, с которой он уходил от меня в то утро, свой палец, продетый в шлевку его брюк, хриплый голос Нины Саймон, когда мы любили друг друга, но я ведь прожила с ним полгода — почему у меня не удержалось в памяти больше... И сегодня, раз уж я не узнаю об этом человеке ничего, кроме того, что он скажет сам и покажет сам, раз уж я не сомневаюсь, что между нами ничего больше быть не может, всего-навсего выплывший в водовороте жизни случай, раз уж я знаю это все, то и говорю себе, что надо быть внимательнее, чем всегда, все заметить и все запомнить. Чтобы вспоминать потом наши приглушенные устилающим лестницу бордовым ковром шаги. Свою левую руку на гладких перилах, свет, все более рассеянный с каждым поворотом лестницы, удаляющийся шум, наши тени на стене — длинные, нереальные. Это чувство ожидания у нас обоих, такое явное, как будто его можно потрогать. Шелест моего платья, наши осторожные шаги, осторожные, да, но уверенные, — наши шаги по коридору, который ведет в мою спальню, щелчок автоматического выключателя, на который мы не обращаем внимания и не останавливаемся. Чтобы вспоминать, как звякнул ключ от моей двери, о моей руке, выпустившей его руку, о пустоте, которую враз ощутили мои пальцы, о его теле близко-близко к моей спине, о его дыхании на моих волосах, о прохладе, которой встретила нас спальня, когда я открыла дверь, — уходя, я оставила окно открытым, — о запахе моих духов, смешавшемся с ароматами ночи, растворенными в воздухе.

Он входит, и я тихонько затворяю за ним дверь. Поворачиваюсь, прижимаюсь к двери спиной, потому что ноги вдруг стали ватными, потому что я вдруг поняла, что мы одни, я начала и отступать мне некуда.

Вам никогда не приходилось задумываться, почему, если ты одна, море в солнечный зимний день кажется таким новым? Новеньким с иголочки, чистеньким, только что явившимся незнамо откуда, совершенно невинным и простодушным. Как невинная девушка. Словно до него, до этого моря, никто и никогда не дотрагивался, никто его никогда не целовал, не входил в него, не проглатывал и не выплевывал, не брал во всех смыслах слова. В это мгновение я чувствую себя именно такой, в это мгновение, когда спиной прижимаюсь к двери и его тень накрывает мое лицо. Я ничего не пережила, сорок два года жизни ничему меня не научили, ничему. Мое сердце никогда не ранили, мое тело никогда не кровоточило, моя душа никогда не терзалась ни тревогой, ни тоской, я еще не умею лгать, предавать, бросать, ненавидеть, плутовать, красть, притворяться. Я никогда ничем не болела, никогда не страдала, я не думаю о смерти, я просто живу. Я ничего ни о чем не знаю. Будущее, грядущее, предстоящее, завтрашний день, все это, такое всегда для меня тягостное, потому что полно неизвестности, все это зыбкое, как песок, притягивающее нас только тогда, когда мы еще не вкусили, даже не пригубили неотделимой от всего этого горечи, — все это меня ждет, но мне ничуть не страшно. Где начинается легкомыслие и где кончается отвага?

Половина одиннадцатого. Подхожу к окну, чтобы закрыть, и ловлю взглядом луну в небе и накладывающееся на луну собственное отражение в стекле. Там, снаружи, сейчас никаких красок, не видно рапсовых полей, не видно долины, тумана, домиков — теперь картина черно-белая. Я улыбаюсь своему отражению, из-за распущенных волос лицо кажется еще меньше. Приближается Роман, и я как будто смотрю фильм. Я вижу позади себя его лицо, его встрепанные волосы, такой старый фильм, как ожившая фотография, нерезкая, между нами луна, между нами ночь, он останавливается прямо за мной, он улыбается, и больше я ничего не вижу, потому что закрываю глаза. И ко мне приходит немыслимая, невозможная уверенность, что теперь все будет хорошо.

И еще я тут же понимаю, что все, с нами происходящее, правда. Это мгновенное понимание меня не пугает, я не зажимаюсь от него, наоборот, мне от него спокойно, и я так богата, так переполнена, как редко, а может, и никогда не была. Что чего стоит, я всегда осознавала только потом, когда ничего уже не было, когда все уходило в прошлое, когда от всего, что ушло, оставались лишь грусть и воспоминания. А теперь время словно замедлилось, поделилось на долгие секунды, которые я могу смаковать, в которые я могу погружаться вся целиком, делать как-то так, чтобы каждой частицей кожи ощущать мгновение в его протяженности и широте. Я никуда не спешу и впервые в жизни не пытаюсь ни взять верх над уходящим временем, ни подчиниться ему. В этот раз часы стали мне друзьями, союзниками, братьями. Мое сердце открывается, как небо, мое сердце — небо.

Совсем гладко все-таки не получается. То я начинаю стесняться, как девчонка, то Роман неловок, мы ищем опоры в уже знакомом — в глазах, в губах, мы не разнимаем рук, что бы мы ни делали, мы стараемся не расцепиться взглядами, но мне нравятся эти неловкости, эти колебания, эта трогательная, идущая от волнения неуклюжесть, и глаза у меня влажнеют, и начинают литься слезы, и сердце бьется так, что грудь вздрагивает. Я не притворяюсь идеальной любовницей, не притворяюсь, будто все умею, мне совершенно не нужно доказывать, что опытна в любви, сейчас все правда и все правильно, все, что годы подарили мне лучшего, и все, что годы прицепили ко мне худшего, все это со мной.

Мы смеемся над своей неуверенностью, и в эти мгновения неуверенности нам лучше, чем если бы все было совсем гладко. Между нами сообщничество, которого не бывает у любовников на одну ночь, гармония, какой не всегда достигают пары, долго прожившие вместе. У него три родинки на ключице, на палец одна от другой, и еще две на плече, и еще одна, покрупнее, на бедре, эту можно взять между большим и указательным и покатать... Розовая такая родинка, немножко сморщенная, но розовая, будто щеки юной девы в романах восемнадцатого века. А чуть пониже, на внутренней поверхности ляжки, еще одна, я не решилась рассмотреть ее как следует, только прикоснулась, закрыла глаза и представила себе, что она тоже розовая. И подумала, что у меня хватит времени в этом убедиться. Впервые в жизни я не торопилась — завтра, послезавтра, через месяц, через год, все равно когда, какая разница. То, что происходит сегодня, во время свадьбы Анны, у меня теперь навсегда. Я поймала себя на том, что нет у меня ни надежд, ни ожиданий.

Внизу продолжается праздник, как будто под полом бьется огромное сердце, я не знаю, который час, я не осмеливаюсь шевельнуться. Роман уткнулся мне в плечо, он не спит, ни мне ни ему совсем не хочется спать, сна ни в одном глазу, просто как никогда. Я молюсь, чтобы это длилось вечно. Нет, не о том, чтобы Роман навсегда остался в моей постели, я понимаю, что это невозможно, а может быть, и не нужно, а о том, чтобы это чувство — «я сделала то, что надо было сделать», чувство, что я в ладу с собственным телом и собственным духом, что я послушалась глубинной интуиции и не ошиблась, — чтобы это ощущение осталось со мной на всю жизнь. Мне кажется, будто я в первый, самый первый раз переживаю такое... такое, что можно было бы назвать простым, прекрасным, добрым, мне кажется, будто я обрела нечто неуловимое и драгоценное, нечто постоянно ускользающее от нас из-за пустой траты времени, из-за жажды все иметь, гнаться и копить, подменившей умение созерцать.

Я снова и снова вспоминаю этот день, который начинался довольно печально и в некоей замедленности — пока мы с Анной были еще дома. Как будто стены защищали нас и от времени тоже. Но стоило высунуться наружу — пузырь лопнул, время нас разделило, унесло с собой наше эфемерное содружество и нашу прежнюю жизнь. А с тех пор, как я вошла с Романом в спальню, все успокоилось и время превратилось в гигантскую волну — то накатит, то отступит.

Тянусь к часам, и тут дверь открывается. Я не отдергиваю руку, я беру часы, без четверти двенадцать, я знаю, что это Анна. Она старается не шуметь, я узнаю ее шаги, ее легкую поступь: она ставит сначала носок, а потом уже опускает всю маленькую ступню, она всегда так делала, у нее всегда были эти легкие шаги, но я всегда слышала, скорее даже чувствовала, что она здесь. Сегодня слышны не только шаги, еще шелест платья, наверное, Анна его немножко приподняла. Я не боюсь, на этот раз не боюсь.

Я всю свою жизнь боялась дочери, боялась, что не сумею ее воспитать, боялась, что она мной будет недовольна, боялась, что она будет совсем не такой, как я, боялась, что она будет точной копией меня, боялась быть слишком уж самой собой, боялась ее разочаровать, боялась ее разлюбить, боялась, что она меня разлюбит. Наверное, если бы меня попросили определить свой материнский опыт одним словом, это слово было бы — страх. Столько ответственности, в твоих руках жизнь, приходит ли нам это в голову, когда даем жизнь, хоть на минутку об этом задумываемся? О грузе этой жизни со всеми ее успехами, провалами, упущенными возможностями, — о жизни, которая прибавляется к нашей, как будто нашей собственной, этой собачьей жизни, не хватает? Нет, мы думаем, какое личико будет у

нашего ребенка, на кого он будет похож, и проводим день за днем, глядя на него, спящего, всматриваясь в его черты, думаем о том, как он будет лепетать и какое слово скажет первым, думаем о его проказах, над которыми заранее смеемся, думаем о днях его рождения и новых ботиночках, которые он будет носить с такой гордостью, думаем о первом велосипеде и о том, как он в первый раз сам удержится в седле, думаем о первых его шагах и уроках на дом, думаем, до чего же он будет умный, а как же иначе, он обязательно будет умный, обязательно будет красивый.

Я только и успеваю шепнуть Роману: «Не волнуйся!» — и вот, пожалуйста. Я только и успеваю запомнить, какое у нее было лицо до того, какая она была вся до того — пока не осознала, что я в постели с мужчиной, с ее свекром. Она действительно приподняла юбку до щиколоток, и лицо ее больше не такое... не такое слегка напряженное, как во время церемонии, с этим слишком бледным для нее тоном, с этой чересчур яркой для нее помадой. Ее одолевает волшебная усталость — вот почему она выглядит такой счастливой, и она уже знает, что все удалось, что удалось сделать этот день, как говорится, самым прекрасным днем в жизни. Она даже улыбается — чуть-чуть лукаво.

А потом видит. А что, собственно, она увидела? Мы стыдливо укрыты простыней, что там осталось снаружи? — наши руки, наши шеи, наши головы.

Анна выпускает край юбки, зажимает рот ладонью, приглушенно вскрикивает и убегает. Ее каблуки стучат по полу, она хлопает дверью, и я слышу, как она мчится по коридору.

Мне все еще не страшно, я и бровью не повела. Роман вздыхает, берет меня за руку, и как же я ему благодарна за то, что он ничего не говорит. Я встаю, надеваю платье, заказанное для свадьбы Анны, не прощаюсь, не позволяю себе раздумывать над тем, застану ли его, вернувшись, мне надо поговорить с Анной.

В столовой какие-то гости еще танцуют, чей-то мальчик спит на трех сдвинутых стульях... Анны нет. Выхожу во двор. От холодного воздуха меня бросает в дрожь, и тут я вижу белый силуэт. Анна сидит возле алтаря. Я всегда боялась спорить с дочерью, как будто чувствовала себя на ступеньку ниже, как будто я не способна ни согласиться с ее аргументами, ни выдвинуть свои, заставить ее уступить. Я всегда придумывала немислимое количество слов, которые надо сказать, немислимое количество жестов, которыми надо подкрепить эти слова, немислимое количество доводов, на которые Анне нечего было бы возразить, а в споре не могла вспомнить ни одного, парализованная своей любовью и страхом. Сегодня я иду к ней неторопливо, босиком, только сейчас это заметила, и совершенно не боюсь. Мое тело — тело женщины, в голове ни одной легковесной мысли, нет — я собранна, я сосредоточенна, я не боюсь.

— Анна...

— Мама, оставь меня в покое.

Раньше я ретировалась бы, отступила под предлогом того, что должна же я уважать ее волю, а внутренне — вздыхая, что нельзя сразу пойти на конфликт, но сейчас я слышу это «мама», произнесенное, нет, не с нежностью, зачем лишние иллюзии, спокойно; она сказала «мама» не со своей обычной осуждающей интонацией, сказала очень спокойно. Я сажусь на стул за ее спиной, мне до смерти хочется погладить ее шею, обнять мою дочку, в прежние времена я бы упала к ее ногам, стала бы на коленях вымаливать прощение за то, что оказалась такой плохой матерью. А теперь я просто-напросто сажусь, небо светлое, над замком рассыпь звезд, и я думаю о Романи. В первый раз, увидев звезды, я не вспоминаю Мэтью, я слежу глазами за несколькими звездочками, пока взгляд не опускается до густого

леса. Ночь пахнет деревьями, сырой травой, влажной землей. Я невольно вздыхаю, Анна тоже. Она смотрит в небо. И тогда — наверное, потому, что все здесь такое неподвижное, такое незыблемое, потому что ничто не нарушает установившегося порядка, потому что мать и дочь сидят в ночной тишине, потому что, как мне кажется на мгновение, мы обе нашли наконец свое место в этом мире, потому что в эту минуту мы просто две женщины, такие маленькие, такие незначительные на фоне этого усыпанного звездами неба, — из-за всего этого я рассказываю ей — в первый раз, — как у нас все было с ее отцом.

История начинается с нашей встречи в книжном магазине позади Британского музея, а заканчивается тем утром, когда он уезжает, чтобы прожить то, о чем мечтал. Я рассказываю, как мы покупали чашки, и она легонько вздрагивает, я не решаюсь проверить, заплакала она или нет. Я рассказываю просто, без приукрашивания, я не стараюсь изобразить свою жизнь так, чтобы это доставило ей удовольствие, я пытаюсь объяснить, что творилось у меня в голове, когда мне было восемнадцать и я любила ее папу. Когда все стихает, и даже ветер, Анна оборачивается. Ее глаза блестят. Она встает, подходит ко мне, и я прижимаюсь головой к ее животу. Она обнимает меня, гладит меня по волосам, не поймешь, кто тут мать, кто дочь, никогда между нами такого не было, никогда я не ощущала такой ее к себе любви. Мы остаемся в этой позе долго, долго, а потом я слышу детский вопрос, сколько же лет я его не слышала:

— Мам, и что теперь будет?

Я встаю, беру ее лицо в ладони, такое прекрасное лицо, у меня самая красивая дочка в мире, я сделала ее сама, почти без чьей-то помощи. А потом мы обнимаем друг друга за талию и возвращаемся в праздник. Перед дверью Анна снова прижимается ко мне, скоро увидимся, мам, встретимся за завтраком.

Когда я собираюсь уйти, она меня не отпускает, она говорит, едва сдерживая слезы:

— Спасибо, мама, я и не знала, что ты так его любила.

Сказала — и нет ее. Вприпрыжку бежит к мужу. А может быть, я выдумала, что вприпрыжку, но так приятно убеждать себя в том, что твой ребенок вприпрыжку бежит к будущему.

Я поднимаюсь по лестнице, поднимаюсь бесшумно — ноги-то босые, — и, прежде чем открыть дверь в свою спальню, прежде чем узнать, там ли еще Роман, прежде чем узнать, как сказала моя дочь, «и что теперь будет», говорю сама себе, что день свадьбы Анны — самый прекрасный день моей жизни.

Больше книг на сайте - Knigolub.net

Кошкам от молока никакого удовольствия (*ит.*).

Старый квартал Лиона. — *Здесь и далее примеч. перев.*

Coluche, настоящее имя Michel Colucci (1944–1986) — французский комик, актер и сценарист. В октябре 1980 г. Колюш, в знак протеста против политической ситуации в стране, заявил о намерении баллотироваться на пост президента Франции. Согласно опросам, он завоевал около 16 % голосов и получил поддержку большого количества интеллектуалов.

Распорядитель свадеб (англ.).

Е. Т. — центральный персонаж фантастического фильма «И-Ти — инопланетянин» (1982 г.) Стивена Спилберга.

Один из районов Лондона, особенно модный в конце 50–60-х гг., в то время здесь селилась в основном творческая интеллигенция — артисты, писатели, художники.

Правильный, в полном порядке; без ошибок, без изъяна (*англ.*).

«Рядом с Джеки я мужчина» (*англ.*). Фраза, приписываемая Джону Фитцджеральду Кеннеди, 35-му президенту США.

Русская песня «Дорогой длинною» («Ехали на тройке с бубенцами...»).

Nina Simone, настоящее имя Eunice Kathleen Waymon (1933–2003) — легендарная американская негритянская певица и композитор. Придерживаясь джазовой традиции, она использовала самый разный материал, сочетала джаз, соул, поп-музыку, госпел и блюз, записывала песни с большим оркестром.

«Девушка не такая, как все» *(англ.)*.

Так в английской медицинской литературе (а отсюда — и в печати вообще) называют стресс, который испытывает женщина после рождения ребенка, буквально «хандра, связанная с новорожденным».

Бьянка Кастафиоре и Раस्ताпулос — персонажи классических комиксов из серии о Тентене, сочиненных и проиллюстрированных бельгийским писателем и художником Эрже.

Маленький (в 1999 г. население составляло всего 970 человек) городок в департаменте Эн.

Везуль — главный город французского департамента Верхней Соны; Сен-Пьер-де-Кор — небольшой городок, железнодорожная станция неподалеку от Тура. Оба направления противоположны направлению в департамент Эн.

«Изумруд Кастафиоре» (по-французски «Украшения Кастафиоре») — название 21-й серии того комикса, о котором уже шла речь. Дословный перевод фамилии «миланского соловья», оперной дивы Бьянки Кастафиоре, — «чистый цветок».

Историческая область Франции.

Киножанр, название которого иногда переводится как «дорожный фильм», рожденный в начале 60-х годов. Его основные признаки — все или почти, что происходит в путешествии, ставшем основой для сценария, связано с самим этим путешествием. Классические примеры road movie — два американских фильма, «Бонни и Клайд» (1967) и «Беспечный ездох» (1969).

Сет — город и порт на юге Франции, на берегу Средиземного моря, в департаменте Эро.

Роман, содержащий ключ к философии автора. Сознание Мерсо, героя «Постороннего», пробуждается лишь к самому концу повествования, когда он оказывается перед лицом смертной казни за случайное, беспричинное убийство незнакомого араба. Прототип современного антигероя, он бесит судей неприятием их лицемерия и отказом признать собственную вину. Альбер Камю (1913–1960) — французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1957 г.

А. Камю. Сочинения. М.: Прометей, 1989 (пер. Н. Немчиновой).

Бресская пулярка — охраняемое законом торговое наименование. Эти куры белого цвета, с голубыми ножками и красным гребешком должны три четверти жизни проводить на свободе, на площади не менее 10 м² на курицу, кормят их преимущественно маисом.

В декабре каждого года в Бург-ан-Брессе, в Луане и Пон-де-Во проводится конкурс, где птицеводы представляют своих предназначенных для продажи кур. Победительниц после этого можно продавать по очень высоким ценам.

Белый соус на основе сливок или сметаны с добавлением мяса крабов, подается к рыбе и мясу.

Остров Клиппертон, или Остров Страсти, — принадлежащий Франции коралловый атолл в Тихом океане. Назван в честь английского пирата Джона Клиппертона, который якобы дважды проходил мимо него в начале XVIII века, однако никаких упоминаний об этом нигде не сохранилось. А вот насчет Острова Страсти сведения достоверные: 3 апреля 1711 г. два французских судна, «Принсес» и «Декуверт», наткнулись на неизвестный остров, который назвали *L'île de la Passion*.

Lakrime Christi — в дословном переводе «слеза Христова», итальянское (бывает испанским) вино янтарного или ярко-пурпурного цвета с пряным и теплым ароматом, полученное из слегка подвяленного винограда.

«Только ты» — возможно, самая известная песня американской ритм-энд-блюзовой вокальной группы 50-х годов Platters.

Джин Сиберг (1938–1979) — американская актриса, обязанная своей известностью в основном европейским режиссерам, прежде всего — Годару, у которого снялась в его знаменитой дебютной картине «На последнем дыхании» (1959).

Песни Фрэнка Синатры, группы «Платтерс», Саймона и Гарфункеля, Эрика Клэптона.

Свое название эти растения получили за сходство ниспадающих ветвей с оперением казуаров — птиц, близких страусу эму. Листья казуарин представляют собой маленькие колечки, которые обвивают стебли, свисающие вниз длинными узкими плетями.

Вирджиния Вульф (1882–1941) — английская писательница, критик, литературовед, переводчик. Первые попытки самоубийства были ею совершены в тринадцать лет и в двадцать три года. В 1938 г. в Испании погиб ее племянник, к которому они с мужем относились как к сыну, писательница попыталась с головой уйти в работу, но была уже в состоянии тяжелой депрессии. В начале 1941 г. бомбардировкой был разрушен дом Вульфов, они переехали в Родмэлл графства Сассекс. Здесь Вирджиния стала жаловаться домашним на то, что все время «слышит голоса птиц, поющих на оливах Древней Греции», а затем, не желая, чтобы остаток своей жизни муж провел в заботах, связанных с ее помешательством, 28 марта 1941 г. исполнила то, что не раз описывала в своих произведениях и что не раз пыталась осуществить на практике, — покончила с собой, утопившись в реке Оус.

«Частица Моники в моей жизни... Частица Сандры в солнце» *(англ.)*.